

ГАВРИИЛ

МЯСНИКОВ



ФИЛОСОФИЯ УБИЙСТВА

ИЛИ

ПОЧЕМУ И КАК ЖЕ УБИЛ МИХАИЛА РОМАНОВА



Annotation

Мясников Гавриил Ильич - рабочий-большевик, один из лидеров Мотовилихинских большевиков. Профессиональный революционер с 1905 года. Активный участник Октябрьской революции и Гражданской войны. Один из главных организаторов похищения и убийства великого князя, последнего русского императора Михаила Романова. Позднее участвовал в левой оппозиции.

В 1920—1922 годах вел оппозиционную деятельность внутри РКП(б), входил в «рабочую оппозицию». Известна полемика Ленина с Мясниковым.

20 февраля 1922 года был исключен из партии большевиков

Был дважды арестован, после чего получил разрешение уехать в Германию. Осенью 1923-го его убеждают вернуться в СССР. Арестом вернувшегося Мясникова руководил лично Дзержинский. Три с половиной года провёл в тюрьме. Бежав из Ереванской ссылки, выпрыгнув на ходу из поезда Ереван — Джульфа, маршрут которого проходил вдоль государственной границы, переплыл Аракс и бежал в Иран. Заграничные скитания завершились в 1930-м в Париже. В январе 1946-го он возвратился в СССР, по одной из версий - насильственно. К этому времени все его сыновья погибли на фронте. Жена пережила тяжёлое психическое расстройство. Был арестован прямо у трапа самолёта. После девяти месяцев следствия Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор - расстрел. Жена, узнав об этом, сошла с ума и вскоре скончалась. Расстрелян в 1946 году.

«Жанр «Философии убийства» — воспоминания-размышления, иначе, «исповедь убийцы». Не записка, составленная по тому или иному поводу (например по просьбе Истпарта или Общества политкаторжан), не некий описательный отчет, лишь фиксирующий (как правило, по памяти) свои (чужие) действия в конкретном событии, а нечто более масштабное, более личностное. В «Философии убийства» автором ставится и по мере возможностей (способностей) разрешается глобальная задача: изложить всю полноту аргументов, побудительных причин, в том числе сугубо психологических, приведших некогда его, автора, к определенному решению, поступку, в совокупности вынудивших его «сделать то, что он сделал». Мясников реконструировал весь комплекс своих внутренних переживаний, другими словами, заново пережил ситуацию. В мемуаристике указанный жанр встречается крайне редко. Тем больший интерес вызывают

сохранившиеся немногочисленные образцы и особенно те тексты, которые создавались в расчете на публикацию.»

- [Гавриил Мясников](#)
- [Глава I.](#)
- [Глава II.](#)
- [Глава IV.](#)
- [Глава V.](#)
- [Из протокола допроса Г.И.Мясникова](#)
- [notes](#)
 - ☐ [1](#)
 - ☐ [2](#)
 - ☐ [3](#)
 - ☐ [4](#)
 - ☐ [5](#)
 - ☐ [6](#)
 - ☐ [7](#)
 - ☐ [8](#)
 - ☐ [9](#)
 - ☐ [10](#)
 - ☐ [11](#)
 - ☐ [12](#)
 - ☐ [13](#)
 - ☐ [14](#)
 - ☐ [15](#)
 - ☐ [16](#)
 - ☐ [17](#)
 - ☐ [18](#)
 - ☐ [19](#)
 - ☐ [20](#)
 - ☐ [21](#)
 - ☐ [22](#)
 - ☐ [23](#)
 - ☐ [24](#)
 - ☐ [25](#)
 - ☐ [26](#)
 - ☐ [27](#)
 - ☐ [28](#)
 - ☐ [29](#)
 - ☐ [30](#)
 - ☐ [31](#)
 - ☐ [32](#)
 - ☐ [33](#)
 - ☐ [34](#)

- ☐ 35
- ☐ 36
- ☐ 37
- ☐ 38
- ☐ 39
- ☐ 40
- ☐ 41
- ☐ 42
- ☐ 43
- ☐ 44
- ☐ 45
- ☐ 46
- ☐ 47
- ☐ 48
- ☐ 49
- ☐ 50
- ☐ 51
- ☐ 52
- ☐ 53
- ☐ 54
- ☐ 55
- ☐ 56
- ☐ 57
- ☐ 58
- ☐ 59
- ☐ 60
- ☐ 61
- ☐ 62
- ☐ 63
- ☐ 64
- ☐ 65
- ☐ 66
- ☐ 67
- ☐ 68
- ☐ 69
- ☐ 70
- ☐ 71
- ☐ 72
- ☐ 73
- ☐ 74
- ☐ 75
- ☐ 76
- ☐ 77
- ☐ 78

- ☐ 79
- ☐ 80
- ☐ 81
- ☐ 82
- ☐ 83
- ☐ 84
- ☐ 85
- ☐ 86
- ☐ 87
- ☐ 88
- ☐ 89
- ☐ 90
- ☐ 91
- ☐ 92
- ☐ 93
- ☐ 94
- ☐ 95
- ☐ 96
- ☐ 97
- ☐ 98
- ☐ 99
- ☐ 100
- ☐ 101
- ☐ 102
- ☐ 103
- ☐ 104
- ☐ 105
- ☐ 106
- ☐ 107
- ☐ 108

Гавриил Мясников

**Философия убийства, или почему и
как я убил Михаила Романова**

Публикация Б.И. Беленкина и

В.К.Виноградова

Предисловие



Мясников (Ганька) Гавриил Ильич.

Начнем с того, что Гавриил Ильич Мясников (1889–1945), а для многих знавших его лично — просто Ганька, как звали его близкие, партийные друзья-соратники и тысячи мотовилихинских рабочих, вожаком которых он был в эпоху революции и гражданской войны, — шестнадцать лет состоял в партии большевиков (с 1906 до исключения в феврале 1922). Но столь внушительный партийный стаж для непримиримого оппозиционера еще ни о чем не говорит. Правильнее было бы назвать его не «большевиком» или «бывшим большевиком», а «левым коммунистом». Не потому, что Мясников примыкал к известной фракции в 1918 (а он к ней примыкал), а потому, что

такowym он был всю свою сознательную жизнь. Сегодня подобное направление в идеологии и политике принято называть «левачеством». В российском коммунистическом движении 1920–1930-х Мясников занимает особое положение, и в первую очередь благодаря особенностям своей личности. В попытках реализовать свои левацкие установки он — как видно из всей его жизни — был предельно последователен и флагов никогда не менял.

Мясников родился в бедной многодетной семье в г. Чистополе (Казанская губерния), где окончил 4 класса ремесленной школы. В 1905 едет в Мотовилиху и поступает рабочим на знаменитый пушечный завод. Мотовилиха, в которой он провел в общей сложности не более четырех с половиной лет, становится его alma mater. Там началась его революционная деятельность, там он участвует сперва в экспроприации оружия, затем в восстании, там же его избивают до полусмерти казаки и первый раз арестовывают. Первый побег — в 1908. Затем череда арестов, побегов, перемещений по чужим документам. С 1913 до марта 1917 он отбывает заключение в Орловской каторжной тюрьме, где окончательно сформировывается его мировоззрение (одновременно с голодовками, пытками и избиениями происходит процесс усиленного самообразования). Весной 1917 возвращается в Мотовилиху и сразу же занимает заметное место в местной партийной и советской иерархии. После падения Перми (декабрь 1918) некоторое время находился на фронте (комиссаром дивизии). Пик партийной карьеры — пост председателя Пермского губкома (1920). Тогда же начинаются его идейные расхождения с «генеральной линией». Оппозиционная активность периода 1921 — начала 1922 заканчивается исключением из партии. После нескольких недель на посту заместителя директора Мотовилихинского завода его арестовывают, но 12-дневная голодовка протеста приводит к освобождению. Живя в Москве без права покидать город, он продолжает оппозиционную деятельность. В мае 1923 — арест, и после некоторого раздумья — куда его выслать: в Минусинск или в Берлин — ОГПУ останавливается на последнем. В Берлине Мясников не оставляет политическую активность и сходитяся с местными «левыми». Между тем в Москве ОГПУ активно разрабатывает дело «Рабочей группы», почти ничем не проявляющей себя (оппозиционная организация, по сути, — партия, которую еще весной 1923 пытался создать Мясников). Аресты проходят в сентябре (арестовано 20 с лишним человек). В октябре основной этап следствия закончен. В начале ноября Мясникова заманивают в Москву и арестовывают. Длительная голодовка, попытка самоубийства, полный отказ от участия в

следствии — все это заканчивается 3-годовичным тюремным сроком, по отбытии которого ему дают новый, такой же. Но вскоре почему-то (зная склонность Мясникова к побегам) заменяют тюремный срок ссылкой в Ереван. Оттуда он бежит в Иран (ноябрь 1928). После пребывания в иранских и турецких тюрьмах, благодаря усилиям возникшего в Германии «Комитета помощи Мясникову», турецкие власти отменяют приговор (4 года тюрьмы), затем он получает въездную визу во Францию. Первые годы в эмиграции Мясников пытается играть политическую роль среди местных «левых». После провала ряда начинаний, ареста (1934) и угрозы высылки его политическая деятельность сходит на нет. До конца 1930-х не оставляет своего любимого занятия — писания трактатов, разоблачающих сущность Сталина, Троцкого, Бухарина и др. бывших и настоящих лидеров большевиков. Единственным источником существования Мясникова во Франции был физический труд на разных (как правило, небольших) предприятиях. Во время оккупации Франции его арестовывают, и в течение года он находится в концлагерях. После очередного побега до освобождения Парижа живет по чужим документам. С 1929 по 1936 Мясников неоднократно обращается в советское представительство с просьбой о разрешении вернуться в СССР. (Скорее всего, все эти обращения, исключая, может быть, последнее, в 1939, занимали какое-то свое место в игре, которую он вел против политического режима в СССР). В конце 1944 советское представительство сообщило Мясникову, что, наконец, такое разрешение получено, и в январе 1945 он возвращается в Москву. Последовали арест, 9-месячное следствие, суд и расстрел 16 ноября 1945.

Безусловно, во многих его поступках присутствовал элемент авантюры. Но авантюризм этот — особенный. Ее проявления были связаны исключительно с интересами основного дела — борьбы за торжество марксистских идей (естественно, как их представлял себе Гавриил Ильич). Авантюра — это, в первую очередь, не рассчитанное, рискованное действие, часто терпящее крах. Поскольку в дальнейшем мы будем говорить о темах, связанных, в первую очередь, с конкретной рукописью, представляется принципиальным выяснить и то, какого рода действие совершил Мясников, создавая свой труд. А на наш взгляд, выяснение именно этого вопроса лучше всего поможет понять, что же из себя представляет сам автор.

Жанр, к которому следует отнести «Философию убийства...», условно назовем «исповедь убийцы». Не записка, составленная по тому или иному поводу (например, по просьбе Истпарта или Общества политкаторжан), не некий описательный отчет, лишь

фиксирующий (как правило, по памяти) свои (чужие) действия в конкретном событии, а нечто более масштабное, более личностное. В «Философии...» автором ставится и по мере возможностей (способностей) разрешается глобальная задача: изложить всю полноту аргументов, побудительных причин, в том числе сугубо психологических, приведших его к определенному решению, поступку, вынудивших его «сделать то, что он сделал». Мясников реконструировал весь комплекс своих внутренних переживаний, другими словами, — заново пережил ситуацию. В мемуаристике указанный жанр встречается крайне редко. Тем больший интерес вызывают сохранившиеся немногочисленные образцы.^[1] Известно, что в советскую эпоху, особенно в 1920-е (а позднее — в 1960-е), некоторые участники большевистского террора времен гражданской войны писали воспоминания (или — «наговаривали»): например, Я.Юровский и Г.Никулин — участники убийства царской семьи, А.Марков — один из убийц Михаила Романова и Брайана Джонсона...^[2] Но во всех этих случаях речь идет о текстах описательных, лишь реконструирующих определенное событие и фиксирующих действия свои и других «соучастников», поведение жертв. Понятно, что подобные «свидетельства очевидцев» требуют к себе особого отношения. Не предназначавшиеся к суду современников (а значит и других возможных свидетелей и участников), эти «потаенные» тексты нуждаются в предварительном «пропуске» через исследовательское сито».

Что касается написанных для печати эсеровских «воспоминаний террористов», то в большинстве своем они тоже не выходили за рамки фиксации событий и описания действующих лиц.^[3] Случай с «Философией убийства...» — совершенно особенный. Само событие, отодвинутое автором на второй повествовательный план, и достоверность его описания безусловно остаются для читателя важными элементами текста, но — на наш взгляд — не определяющими его значимость. Ибо исповедуется не кто-нибудь, а Гавриил Ильич Мясников, личность не менее уникальная, чем избранный им жанр...

Представляется, что эффект «Философии убийства...» заключен не в том, что в центре повествования — операция по убийству брата Николая II, и даже не в том, что речь идет о событии, положившем начало той кровавой вакханалии истребления, в которой погибли почти все члены бывшего царствующего дома Романовых («вся большая ектения», как за полвека до того острил С.Г.Нечаев, подразумевая уничтожение всех членов царской семьи). Эффект этот зиждется, по-видимому, на уникальности, «сенсационности» самого повествователя. Не

будем повторять сведений, приводимых Мясниковым в «Автобиографии» (см. Приложение 1). Сразу же отметим, что история с организацией убийства Михаила Романова была лишь эпизодом в его бурной жизни. И эпизодом, в определенной степени вызванным стечением случайных обстоятельств (чего нельзя сказать о причастности Мясникова к другим политическим расправам в 1918^[4]). Не попади Михаил Александрович именно в Пермь, не Мясников бы его убил. Не окажись в те месяцы в Перми Мясников — великого князя все равно «бежали»^[5] бы, пускай месяцем позже, как «бежали» алапаевских узников.

За рамками данного предисловия остается анализ чисто исторических сюжетов, связанных непосредственно с содержанием «Философии убийства...». И, быть может, самый любопытный из них — механизм бессудных несанкционированных расправ на том историческом этапе, который можно условно определить: от начала «триумфального шествия Советской власти» до начала красного террора, т.е. до августа—сентября 1918. В истории убийства вел. кн. Михаила Александровича, благодаря мясниковскому мемуару (а не верить Мясникову у нас нет никаких оснований), можно найти исчерпывающие ответы на вопросы, которые давно «мучают» исследователей. Насколько самостоятельными были или могли быть инициативы «снизу»? Какова была позиция центра по отношению к этим инициативам? В чем вообще в указанное время заключалась оппозиция «провинция—центр» и насколько один из ее компонентов зависел от другого? И т.п.

Мясниковский текст — это, среди прочего, развенчание излюбленного многими мифа о некоем централизованном тайном заговоре (в нашем случае — против членов семьи Романовых). Все было грязнее, примитивнее и безнравственнее. Центр не без чувства глубокого удовлетворения наблюдал, как амбициозные большевистские «удельные княжества» повязывают себя по рукам и ногам кровью своих жертв. Как будто бы в первые месяцы существования советского государства центр удерживал власть отчасти благодаря именно разнообразным местным инициативам (и в области экономической, и в военной, и в сфере чисто карательных мероприятий). Те же Ленин и Свердлов прекрасно знали, как на практике соотносятся друг с другом «официальный курс» и «линия на местах». Например, если в 1906 ЦК РСДРП заявлял: «не укради» — это вовсе не означало, что местный «экс» есть преступление против партии. Тем более в первой половине 1918 не было нужды в «тайных указаниях» о проведении грабежей и расстрелов.

Вернемся, однако, к публикуемому тексту и его автору. Кому предназначалась «Философия убийства...», к какого рода читателю апеллировал автор? Для чего вообще затеял Мясников свой капитальный труд? Несмотря на то, что наши рассуждения по этим вопросам носят вероятностный характер, предпримем все же попытку назвать причины появления рукописи, попробуем выяснить авторские намерения. К сожалению, на сегодня именно парижский этап жизни Мясникова (1930–1944) остается наиболее темным. Поэтому выяснить все обстоятельства рождения «Философии...» (1935) трудно. Попробуем все же прояснить некоторые из них.

Если бы разговор шел о классических мемуарах, то на поставленные вопросы следовало бы ответить однозначно: автор решил подвести итоги. Написание подобных мемуаров Мясниковым^[6] было бы вполне объяснимым, и дальнейшая судьба такой предположительной рукописи (прижизненная публикация, ящик письменного стола, архив КГБ, банковский сейф и т.д.) не была бы принципиально важной. Но в случае с «философией убийства...» побудительные мотивы возвращения в прошлое вступают в противоречие с логикой мемуариста. Ведь по всем правилам игры, тем правилам, которых «исторические фигуранты», подобные Мясникову, неукоснительно придерживаются всю жизнь, таких текстов они не оставляют. Или не могут, или не хотят, или не успевают. (Чтобы «успеть», надо оказаться в положении «террориста на покое», что встречается крайне редко — ив силу жизненных обстоятельств, и в силу особенностей характера). Савинковские «Воспоминания», созданные рукой умелого беллетриста, легко вписывались в контекст бесконечной игры, затеянной их автором. Но, в отличие от Савинкова, Мясникову большую часть жизни сопутствовали иные обстоятельства, иными были его цели, иной была и Мясниковская идеология. Впрочем, что-то общее между ними оставалось. А именно — невозможность существования вне игры. Ее окончание для того и для другого означало тупик, смерть. Савинков оказался в нем после признания советской власти. Выпрыгнул ли он сам из окна, или «его выпрыгнули» (как выразился бы автор «Философии убийства...») — не суть важно: быть длительное время «террористом на покое» он все равно бы не смог (как и Мясников быть «Мясниковым на покое»!). Савинковский текст «Почему я признал Советскую власть» по сути — смертельный тупик. Текст не спасал ему жизнь — в том смысле, как ее представлял себе Савинков, — а оставлял

возможность отправлять физиологические потребности... Но Париж 1935, при всех невзгодах, выпавших на Мясникова-эмигранта, еще не мог стать пятым этажом внутренней Лубянской тюрьмы. Да и «Философия убийства...» ничего общего не имеет с унижительным «фиасковым» текстом Савинкова. Но в том-то и загадка, что мемуар-исповедь никак не вписывается в «игру Мясникова», совершенно неясно, как собирался он подключить к этой игре историю с убийством великого князя, как собирался ее использовать...

В самом начале мы упомянули о предельной последовательности Мясникова. Раз выбранных правил он придерживался до конца. Случалось и хитрить, и лгать, но — по мелкому, по острой необходимости, и только для того, чтобы оставаться последовательным. В каком-то смысле его жизнь — движение по прямой. Но инстинкт самосохранения все же должен был у него быть, в частности этот инстинкт должна была развить и жизнь нелегала в дореволюционной России, и противостояние властям в советскую эпоху. Именно этот инстинкт должен был удерживать Мясникова от афиширования своего участия в «деле Михаила». Но будучи человеком неуравновешенным и импульсивным, он один раз, задолго до написания «Философии убийства...», проговорился. В 1921, в нарушение всех правил, установленных его же однопартийцами. Мясников издал брошюру, где среди прочих оппозиционных материалов поместил свою переписку с Лениным. А в письме вождю им была брошена фраза: «Если я хожу на воле, то потому, что я коммунист пятнадцать лет, который свои коммунистические взгляды омыл страданиями, а был бы я просто слесарь коммунист, того же завода, то где же бы я был? В Чека, или больше того, меня бы «бежали», как некогда «я бежал» Михаила Романова...».^[7] Спустя два года уже не «коммуниста», а «просто Мясникова» насильно «летели» в Германию. Арестованный по возвращении. Мясников, как свидетельствует докладная записка начальника 12-го отдела СОГПУ Славатинского, «с пеной у рта» заявил, что когда он приехал в Берлин, то в белогвардейских газетах, «инспирированных ГПУ», писали, что в Берлин приехал «цареубийца Мясников» и вследствие этого белогвардейцы якобы установили за ним слежку, о чем он сообщил т.Крестинскому, от которого будто бы получил для самозащиты револьвер.^[8] О том, что брошюра в свое время успела наделать шума и, главное, попала за границу, Мясников или забыл, или не захотел вспомнить.

Спустя 6 лет сперва в Белграде, затем в Париже в эмигрантской прессе был поднят вопрос о роли Мясникова в

убийстве Михаила Александровича. В «антимясниковскую» кампанию включается Владимир Бурцев...^[9] Но, как и шесть лет тому назад, Мясниковские обвинения «компетентных органов» в подстрекательстве неубедительны. (Другое дело — кража мясниковских рукописей: здесь в своих подозрениях и обвинениях Мясников вполне, может быть, справедлив^[10]).

Отметим, что одной «саморазоблачительной» фразой в письме к Ленину Мясников не ограничился. Своей роли в организации убийства он посвятил пространное и вызывающее письмо, адресованное ЦК ВКП(б), ОГПУ и Орджоникидзе. Как и в случае с ответом Ленину, обращение к этой теме мотивировалось скорее импульсивностью и неуравновешенностью отправителя, чем какими-либо практическими соображениями. Но если в первом случае Мясников «завелся» в полемическом задоре, то во втором обращение к истории с Михаилом Романовым было вызвано полной безысходностью положения, в котором оказались автор и его семья: после отбытия трехлетнего срока, полученного в январе 1924, ОГПУ при пересмотре дела продлило пребывание Мясникова в тюрьме еще на три года, а его семьи на тот же срок — в ссылке. Но здесь как адресат, так и жанр («послание из одиночной камеры») должны были подразумевать конфиденциальность письма.^[11]

Итак, если судить по ставшим нам известными источникам, было всего два случая письменной фиксации Мясниковым интересующего нас эпизода. Его реакция на муссирование этой темы за границей (и в 1923, и в 1929/1931) позволяет сделать однозначный вывод: эпизод с убийством, в отличие от других фактов биографии, для широкой огласки (во всяком случае, до 1935) Мясниковым не предназначался. Таким образом, напрашивается вывод: если Гавриил Ильич использовал этот эпизод первый паз в острейшей полемике с «самим» Лениным, а в другой — лишь под угрозой физического уничтожения (повидимому, иной возможности облегчить положение свое и своей семьи, не вставая при этом на колени, он в тот момент не видел), то чтобы пойти на эксплуатацию сюжета с убийством вновь, он должен был оказаться в не менее экстремальной ситуации. После бегства из СССР, после тюрем Ирана и Турции, после истории с кражей рукописей, после травли со стороны русских эмигрантов в Париже Мясников вроде бы должен был действовать крайне осторожно (речь идет и о завязывании знакомств, и о поисках места жительства и работы, и о проявлениях политической активности). При этом счет Мясникова к тогдашнему режиму в СССР продолжал расти.^[12] Даже мучительное, противоестественное для него состояние «затаившегося в норе» (и

это в далеком от чекистов и Политбюро Париже!) Мясников, судя по материалам следственного дела и «Автобиографии», как мог, использовал. В том числе для написания (правда, без дальнейшей публикации) откровенно полемических, позже бы сказали «клеветнических», заметок и обширных политических трактатов... [13]

В 1930-е Мясников продолжает свою последовательную линию поведения. Пытается (безуспешно) создать парижский вариант «Рабочей группы». Мистифицирует местную «левую» публику, подписывая свои статьи как «Представитель Центрального Бюро Коммунистической партии СССР».[14] Пробует, тоже безуспешно, наладить регулярный выпуск газеты «Оппозиционная правда». Постановлению властей о высылке из страны за «вмешательство во внутренние дела Франции» не подчиняется и скрывается (успешно). Одновременно, регулярно обращаясь в советское посольство с просьбой разрешить ему вернуться на родину, дает обещания не заниматься в СССР политической деятельностью. Но в то же время, сообщая жене в Россию об этих своих попытках, уверяет ее, что политических взглядов не изменил... Вскоре после безуспешной попытки создать «Рабочий коммунистический Интернационал» (1934) Мясников уезжает из Парижа в городок Куломье и устраивается рабочим на стройку, где остается до 1936. Именно там он создает «Философию убийства...»

1934 год в какой-то степени был переломным. На допросах в 1945 Мясников об этом говорит так: «до 1934 г. я выступал в печати против советского государства. После же 1934 года таких выступлений не было. Однако до 1938 года я продолжал писать книги, направленные против Советского Союза /.../ когда после мюнхенского соглашения я увидел тучи, сгустившиеся над СССР, я не писал более этого и не критиковал СССР /.../ я прошу прочесть мою рукопись «Философия убийства...», где Вы не увидите ничего антисоветского. Эту рукопись в 1940 году я послал Сталину». Что получается? Мясников ставит себе в заслугу прекращение печатных выступлений. Представляется, однако, что не столько желание не обижать вслух советский режим, а скорее «местные» обстоятельства вынудили Мясникова изменить образ действий. Для адекватного понимания остальных слов подследственного надо помнить: представление Гавриила Ильича об отсутствии «антисоветского» в его творчестве, в контексте тогдашней эпохи, было весьма своеобразным. И тут он не хитрил. Посылая свою рукопись Сталину в 1940, Мясников ничего иного, как продемонстрировать свою лояльность, не предполагал. Но мясниковская «демонстрация лояльности», по сути, — очередной

вызов властям. Впрочем, вызов — практически все его действия. Иначе он не умел... Любому здравомыслящему современнику Мясникова было бы очевидно: чтобы получить прощение от режима и безопасно вернуться на родину, «Философия...» никак не годилась. И если автор все же рассчитывал заработать с ее помощью политические дивиденды, то приходится признать его полнейшую наивность... Самое большое, чего он мог бы добиться, — спровоцировать нападение на себя какого-нибудь монархиста-мстителя. Мы не располагаем достоверными сведениями о намерениях Мясникова опубликовать свою «исповедь» по-русски на Западе.^[15] К тому же содержание рукописи, уже по иным, чем для Советского Союза, причинам, никак не годилось для эмигрантской публики... Возможно, рукопись была позже подготовлена для издания на французском языке. Но для подобного утверждения мы не располагаем нужной информацией.

Возьмемся в 1935 год. До отправки рукописи «конкретному читателю» в СССР остается пять лет. А пока — что же он собирался с ней делать? Позади череда эмигрантских поражений (единственное, чего ему удалось добиться, — отмена постановления о высылке из Франции). Именно в 1934 безрезультатно завершилось все то, что он начинал еще в 1921, задолго до своего бегства. Единственным связующим звеном с родиной оставалась переписка с женой (оборвалась в 1937). Сведения об «истинной» ситуации там приходилось черпать из слухов, случайных или сомнительных источников. Немногочисленные местные «леваки», рабочие-эмигранты из славянских государств Восточной Европы (в частности, из Болгарии^[16]), эпизодические контакты с отдельными русскими эмигрантами (среди них — с Николаевским^[17]) — вот, собственно говоря, и весь или почти весь круг общения. Такая замкнутость не могла не создавать у Мясникова определенных иллюзий. Неадекватное восприятие действительности, в том числе политических реалий, свойственное вообще всем людям его склада, в создавшихся условиях должно было приобрести гипертрофированный характер. Поэтому скорее всего Мясников все же питал иллюзии относительно возможной в обозримом будущем публикации рукописи в СССР (или для французского читателя).

Остается лишь ответить на вопрос, почему им было выбрано именно убийство Михаила Романова в качестве основной сюжетной коллизии. Ведь в его богатой событиями и приключениями жизни были с официальной большевистской точки зрения более «бесспорные» эпизоды, чем организация несанкционированного убийства, более «удобные» для

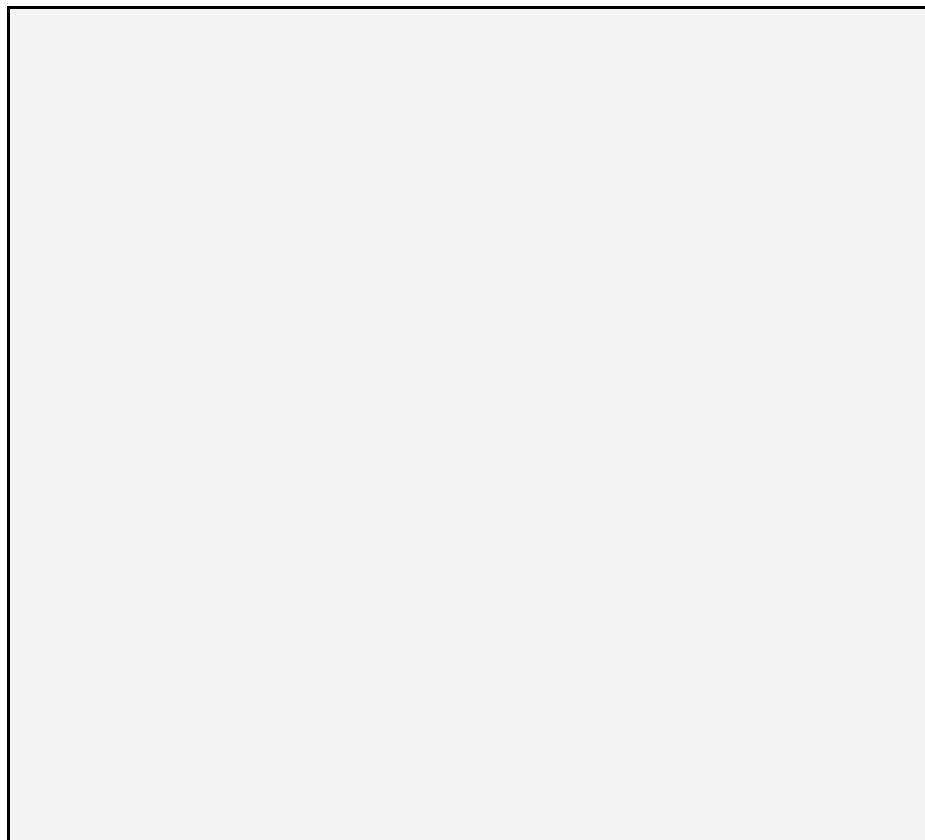
воспроизведения в Советском Союзе 1930-х! Ответ именно на это «почему» мог бы стать ключом к разгадке главного персонажа «Философии убийства...» — ее автора.

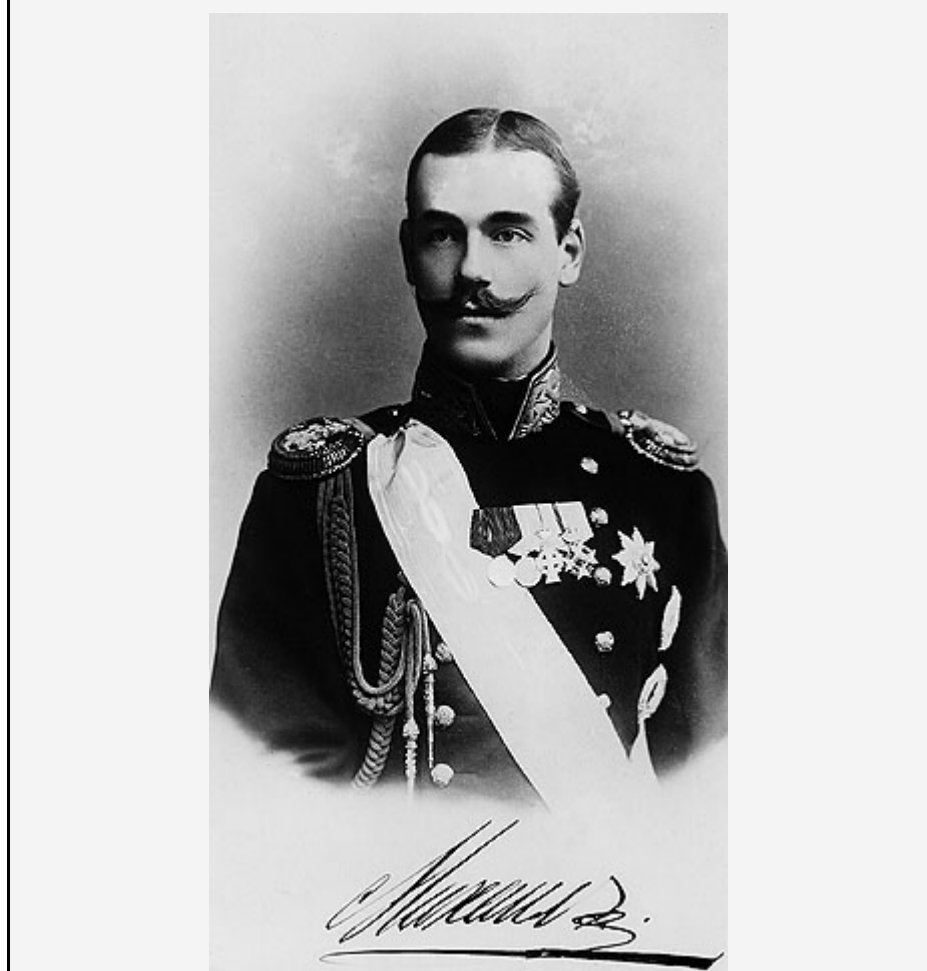
Что бы ни происходило в жизни Мясникова в 1934–1935, можно уверенно заключить: «Философия...» должна была стать очередным вызовом не только эмиграции, но и советским властям, и всем местным «левым», наконец, вызовом самому себе. Именно после 1934 сумма обстоятельств, о которых мы знаем, требовала предъявления доказательств его, Мясникова, побед... Конечно, «Философия...» не предназначалась для ящика письменного стола. Абсолютная самоуверенность (одна из основных черт автора) скорее всего вытеснила на периферию вопрос о судьбе рукописи. Главное было справиться с поставленной задачей: повторить убийство, повторить удачно завершившуюся операцию, пройти еще раз весь путь, если понадобится, от Адама и Евы,^[18] приведший его к победе — убийству.

Едва ли не самым важным для Мясникова было отношение к свободе. В жизни, в действиях Мясникова, как и в его сознании, понятие «Свобода» никогда не было абстракцией. Жажда свободы для других: непрерывное участие, начиная с 16-летнего возраста, во всевозможных революционных мероприятиях. Жажда свободы для себя: в многочисленных побегах из неволи, в бесконечном бунтарстве. Классический самоучка, свой основной интеллектуальный багаж он вынес из одиночных камер дореволюционных тюрем, в которых арестантам давали книги без ограничений. И в бессистемном чтении — постижении всего того, что попадалось ему в руки, от Библии до ленинского «Материализма и эмпириокритицизма», от Достоевского до Авенариуса, он стремился быть абсолютно свободным, в том числе свободным от авторитетов: будь то классики мировой литературы, признанные философы или партийные бонзы, не исключая самого Ленина... Если верить Мясникову, он, уже прошедший к тому времени школу боевика-экспроприатора, во время пребывания в Орловской тюрьме занимался самоистязанием, дабы постичь и обрести Бога, либо доказать самому себе свою полную свободу от Бога.

Внутренний мир Мясникова — потрясающее кривое зеркало. Все искажено, вывернуто наизнанку и одновременно примитивизировано. Образцом свободной личности становится не кто-нибудь, а... Смердяков — ему слагается гимн, собственное «я» трансформировано в такой литературный образ, все «угнетенные трудовики» — суть Смердяковы, а сам Смердяков не отцеубийца, а всего-навсего бунтующий герой-смерд. Видимо,

следует признать: Мясников — явление пограничное, близкое к «клиническому случаю». Но как и многие «классические злодеи», автор «Философии...» при ближайшем рассмотрении оказывается субъектом... совершенно девственным. Полнейшая наивность и вторичность большинства философско-исторических рассуждений вкупе с патологической неспособностью (или нежеланием) увидеть себя со стороны — невольно провоцируют читателя воспринимать автора не как лицо реальное, а как некий вторичный продукт, выдуманного героя. Сравнение царевубийц, а тем более участников «рядовых» терактов с «бесами» Достоевского должно сегодня восприниматься как некий mauvais ton, избитая метафора. Этот ярлык, навешиваемый на революционеров-экстремистов разных толков, в том числе и на всех представителей большевизма, вот уже более века, совершенно утратил какой бы то ни было внутренний смысл. Затертость же этого определения вполне уживается с его неизбежностью и уникальностью, когда речь идет о специфических реалиях отечественной истории. Говорить же о явлении «Мясников» вне российского культурно-исторического контекста бессмысленно.





Михаил Александрович Романов

Мясниковский текст, его рассуждения, включая многословное обоснование убийства, — вне научно-исторического анализа. Авторитетофобия, интеллигентофобия автора «Философии...» лишь подчеркивают, усиливают всю убогость неудержимого потока его сознания.

Мясников заплатил за свою апологию бунта страшную цену. «Философия...» парадоксальным образом свидетельствует о полнейшем фиаско: оказывается, все, чем Мясников, прожив сорок шесть лет (т.е. к декабрю 1935), может похвалиться и перед современниками и перед потомками, — лишь убийство великого князя. Проходной, случайный эпизод превращается с годами в

кульминацию всей жизни, в главную победу...

Когда-то он внес свою посильную лепту в Октябрьскую победу, более того, в течение 12 лет всего себя он отдавал этой победе — в результате в ЧК расстреливают рабочих только лишь за разговоры. Он, гражданин рабоче-крестьянской Советской республики, партиец, в полемике с Лениным и другими партноменклатурщиками попытался отстоять права крестьян и рабочих на свободу слова — в результате его, не моргнув глазом, исключают из партии и сажают в тюрьму. Он, рабочий-самоучка, пишет вполне марксистский «Манифест Рабочей группы» — его, как буржуазного интеллигента, как какого-нибудь Бердяева, выпроваживают из страны, а потом обманом завлекают из-за границы обратно и снова сажают в тюрьму. А его любимое детище — «Рабочая группа»? Немногочисленных и нестойких соратников тоже сажают, ссылают, исключают. А семья? Зачем он ее создал? — чтобы жена и дети, пока он сидит в тюрьмах, мыкались по ссылкам, а когда он сбежит за границу, исполняли роль заложников? А потом все сыновья погибли на фронте, а жена сойдет с ума... Чего достиг он, бежав за границу? Опубликовал несколько статей и одну-единственную брошюру (и все это в первые год-два после бегства), получил возможность в свободное время спокойно писать, мог (не всегда) зарабатывать физическим трудом на хлеб насущный... Вот вроде бы и все.

Но были и более значимые приобретения. Мясников узнал страх и одиночество. Бежал от норовившей сожрать его революции, а попал в среду тех, кого сам «пожирал» когда-то. Оказавшись на воле, как в заточении, наедине с самим собой, Мясников и приступил к своей «Философии...». Позади было постоянное движение, постоянные действия. Прервать их могла тюрьма, но она — лишь временная остановка. В тюрьме зреют будущие действия... Отчасти «Философия...» — тоже вынужденная остановка, которая используется автором в равной степени и для внушения другим, и для самовнушения: вот я какой! могу не только обещать и проектировать, могу добиваться цели! Доказательство тому двойное — и убийство Михаила Романова, и сама рукопись...

В одной из глав «Философии...» Мясников описывает свое состояние во время убийства великого князя. Непосредственные исполнители где-то неподалеку от Мотовилихи «бегут» Михаила Александровича; Гавриил Ильич не сомневается в успешном завершении задуманного, точно знает, что исполнители с задачей справятся. С их отъездом для него — все позади: «Я /.../ пошел /.../. Звоню /.../. Усаживаюсь /.../ присаживаюсь, располагаясь поудобнее /.../. Уселся. /.../ Я встал и пошел /.../ Курю я папироску

за папироской /.../ сидел недолго, а наклеил окурков на стол очень много /.../ Сделал несколько шагов к двери /.../ с какой-то злостью повернулся и подошел обратно к столу, забрал, все окурки и понес их на улицу /.../». Насыщенность текста глаголами обнаруживает судорожность, нелогичность, хаотичность мелких незначущих поступков. Психолог определил бы душевное состояние Мясникова термином «внутренняя тревога». Сартр сказал бы: страх перед самим собой, перед своей возможностью и свободой.

Перед нами неосознанное воспроизведение неосознанного страха. (Не осознанного Мясниковым, ибо, полагаем, сам он понимал страх как нечто конкретное: боязнь физических страданий, ужас тюремного заключения, опасения за жизнь и т.п.). Нет реального себя. Вместо этого — нагромождение иллюзий. В том, как автор передает пустоту наступившей паузы, отчетливо проступает и чувство внутренней опустошенности. Может быть, потому большая часть «Философии...» и заполнена всевозможными объяснениями и конструкциями, что ими же заполнена и вся душа Мясникова-автора, его «я».

Неосознанный страх пробудил неосознанную потребность исповедаться. Не рассказать о своей жизни, а как бы «вывернуться наизнанку», поведать другим о том, что на мясниковском языке именуется внутренним миром...

Но вот исповедь завершена, и вновь начинаются действия, поступки-вызовы, бегства, постоянные передвижения. Проситься на родину он временно прекратил в 1936 (т.е. уже после написания «Философии...»). Тогда же закончилась работа в Куломье, он возвращается в Париж, где работает на международной выставке. После небольшой паузы (1937–1938) попытки вернуться в СССР возобновились и вновь были прерваны — войной. 23 июня 1941 Мясников в очередной раз направился в советское посольство, не зная, что здание уже занято немцами, — и был арестован гестапо (в течение нескольких месяцев пришлось ежедневно ходить в гестапо отмечаться). Спустя год — бегство в неоккупированную зону (в Тулузу). Опять арест. Вишистские власти обвиняли его, кроме всего прочего, в терроризме... Мясников, дабы избежать выдачи немцам, обращается к американскому консулу в Виши с просьбой взять его, гражданина... СССР, под свое покровительство. Затем — французский концлагерь. Затем — немецкий. Опять побег. Жизнь в Париже по чужим документам. Сразу же по освобождении Парижа — неожиданное любезно-настойчивое предложение из советского посольства вернуться на родину. Долгий перелет в Москву (через Италию и Египет). А потом началось то же, что

было бы — вернись Мясников пятнадцатую, десятую или пятью годами раньше: допросы, тюремная больница, опять допросы... Это было одно из немногих следствий, во время которого почти все, сказанное подследственным (плюс материалы, подшитые к его делу), можно было без усилий подвести под букет статей. Даже для опытного следователя заявления допрашиваемого не могли не быть нонсенсом (см. Приложение 3, документы №3–6, 9–11). Заявление же, адресованное Молотову, с требованием вернуть ему за вынужденный простой в тюрьме компенсацию в валюте (франках) — Мясников дотошно подсчитал свои убытки, исходя из месячной заработной платы по последнему месту работы! — полагаем, аналогов не имеет. Потом были приговор и пуля...

В 1945 Мясников привез с собой в Москву свой архив.^[19] По ходу следствия отобрали и приобщили к делу всего несколько работ — наиболее «самоочевидных». Все остальное было уничтожено, то есть сожжено (многое из уничтоженного — на французском языке). На допросах «Философия убийства...» ни разу ему в вину не ставилась. Тем не менее, к делу ее все же приобщили. Хотя на фоне других компрометирующих материалов из архива Мясникова «Философия...» — текст абсолютно невиннейший (те страницы, которые фигурируют в качестве обвинительного материала, выбраны наугад и абсолютно ничего крамольного, в отличие от других фрагментов рукописи, не содержат). Кто-то и зачем-то решил рукопись сохранить...

* * *

В основном разделе предлагаемой публикации помещены фрагменты текста «Философии убийства...». Эти фрагменты составляют приблизительно 2/5 от объема рукописи. Подлинник представляет из себя 429 страниц машинописи; хранится он в Центральном архиве ФСБ и целиком составляет первый из трех томов следственного дела Мясникова, заведенного на него в 1945. Текст рукописи разбит автором на пять «глав» (по смыслу — частей), которые, в свою очередь, делятся на подглавки. Непосредственное отношение к теме убийства великого князя Михаила Александровича имеют только две части — вторая и четвертая. Первая часть знакомит читателя с «местом действия» — Мотовилихой, «большевистской крепостью на Урале», и повествует в основном о событиях зимы 1917–1918. В публикации эта часть представлена небольшими фрагментами. Третья часть («Самопроверка») — выполняет в повествовании роль

классического отступления. Кроме обрывочных воспоминаний о пребывании автора в Орловской тюрьме, данная часть (172 страницы) в основном содержит интеллектуальное и мировоззренческое «меню» Мясникова. Поскольку конспективно выраженные там мысли повторяются в других местах рукописи, «Самопроверка» целиком опущена в публикации. То, что автор пометил как «Глава V», является, по существу, эпилогом. Эта незначительная по объему часть публикуется без сокращений. Во второй и третьей частях сокращению подверглись некоторые повторы и эпизоды, не имеющие отношения к основному событию.

В разделе «Приложения» (1, 3) помещены фрагменты некоторых материалов («Автобиографии», протоколов допросов и других документов из следственного дела 1945 года). Кроме того, в Приложении 2 дана подборка материалов из группового следственного дела Мясникова и его соратников по «Рабочей группе», охватывающая период 1921–1928. Из 54 томов этого дела нами отобраны лишь несколько документов, касающихся непосредственно Мясникова.

Все тексты приведены в соответствие с правилами современной орфографии и пунктуации, за исключением ряда случаев, когда сохранены индивидуальные авторские особенности или норма эпохи («с.-р.», «ешалон», «заводский», «господь бог» и т.п.). Очевидные описки и ошибки исправлены без оговорок, дописывания слов и смысловые конъектуры даны в квадратных скобках, зачеркнутые автором и восстановленные публикаторами фрагменты — в косых, купюры отмечены знаком /.../.

В примечаниях к «Философии убийства...», кроме необходимых справок, уточняющих некоторые события и даты (автор часто допускает хронологические и фактологические неточности), приводятся параллельные фрагменты из других источников. Речь идет об эпизодах, связанных с непосредственным осуществлением плана убийства.

* * *

Первое печатное упоминание о причастности Г. И. Мясникова к убийству великого князя, как уже отмечено, принадлежит самому Мясникову. В 1923 и 1924 вышли соответственно 1-е и 2-е издания книги С.П.Мельгунова «Красный террор в России: 1918–1923», в которой автор с отсылкой к Мясниковской брошюре указывает на него как на убийцу Михаила Александровича. В СССР информация на эту тему впервые после полулегальной

брошюры Мясникова была помещена в книге М.П.Быкова «Последние дни Романовых» (Свердловск, 1926), где убийству отведено около двух страниц текста и все убийцы названы поименно (при этом фамилия одного из них, Колпащикова, искажена). Эпизод с похищением изложен относительно точно. Из издания книги Быкова в 1930 фамилии участников убийства были изъяты. Сообщения о Мясникове-цареубийце неоднократно публиковались в эмигрантской периодической печати в 1923 и 1929–1931. В Советском Союзе после длительного перерыва имя Мясникова было названо в числе убийц великого князя в журнальном варианте работы М.К.Касвинова «Двадцать три ступени вниз» (Звезда. 1972. №8–9; 1973. №7–10). Эпизод, посвященный Михаилу Александровичу, почти целиком повторяет информацию из книги Быкова (1926). Долгое время книги Быкова и Касвинова были основными источниками по теме истории убийства членов семьи Романовых, откуда другие авторы черпали информацию, в том числе и мифологическую.

Отрывочные сведения о деятельности Мясникова периода 1921–1923 можно найти в обширной литературе, посвященной истории КПСС, в частности, в специальных изданиях по теме «Борьба КПСС за единство своих рядов». Деятельности «Рабочей группы» посвящена кн. Вл.Сорина «Рабочая группа: Мясниковщина» (Предисловие Н.Бухарина. М., 1924). После 1989 в различных публикациях, посвященных теме цареубийства, стали использоваться ранее недоступные исследователям архивные материалы, в том числе никогда не публиковавшиеся воспоминания и дневники участников, свидетелей и жертв. Но, как и роль Г. И. Мясникова в убийстве Михаила Александровича, так и сама фигура убийцы в этих публикациях выявлена недостаточно.^[20]

В заключение пользуемся случаем поблагодарить Центральный архив ФСБ России за выявление материалов. Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» — за помощь и поддержку при подготовке настоящей публикации. Благодарим также за консультации и содействие библиографа О.А.Гришину, историка Д.И.Зубарева и старшего консультанта ЦА ФСБ РФ Ю.М.Разбоева.

Глава I.

1. Мотовилиха

Таков обычай. А обычаю этому всего-навсего первый год. Но к этому привыкли. И когда этот мощный гудок Пермского пушечного завода, иначе называемого «Мотовилиха», загудит в неположенное время, то всё настораживается, все чувствуют тревогу и беспокойство.

Напрасно красногвардейцы успокаивают своих отцов, матерей, жен и детей, когда, спешно прощаясь, бегут на эту тревогу. Не укладывается в обычные рамки жизни, тревожно. Ползет тревога незаметно, дети жмутся к матери, печальной и беспокойной.

А гудков этих стало раздаваться много.

Вот и на этот раз. Гудит. Дребезжат стекла в домах и домишках Мотовилихи, настораживается и Пермь, что в четырех километрах от Мотовилихи. Она тоже их знает. И не раз эти гудки пугали властей старого и революционного времени. Гудок всегда нес тревогу, он мобилизовал дремлющие силы, призывал к готовности, к оружию, заставляя и врагов делать то же.

Было это и в 1905 году. Но это было уже 12 лет назад и это вытерлось из памяти. Тогда этот гудок был знаком для забастовки, а потом и призывом к восстанию.

Двенадцать лет не гудел гудок тревогой. За это время ширился и рос завод. Теперь здесь работает 25 тысяч человек. Это хорошая армия! В тихое, погожее утро гудок этот слышен километров на 15–20 в окрестности. Мощно гудит. Да ведь есть и кому. Завод-великан. 32 цеха. Лес труб.

Когда Вы подъезжаете к Перми на пароходе, снизу Вы не сможете не увидеть этого частокола труб в четырех километрах вверх по Каме, на самом берегу. Часто над этим частоколом труб нависает черное облако. Все небо ясно. А над Мотовилихой шапка черной тучи дыма, выбрасываемого этими трубами. Эта шапка, шапка великана, одной большой коллективной головы. А в голове этой всегда мысли буйные, дерзкие, непокорные, это знают все. Знает и начальство, потому-то и тревожатся все, что эта голова что-то решила и что-то хочет сделать. Собирается с силой, гудит, ревет, будит и зовет.

Этот великан-завод с трех сторон прижат к берегу горами:

Вышкой, Висимом, Горками и Заивой. И самые высокие трубы его ниже этих гор. На этих горах и расположена Мотовилиха:

домишки рабочих. И как будто для того, чтобы эти горы не нажали на завод и не столкнули его в Каму, между ними: гордым созданием человеческого труда, образчиком силы человеческого труда над природой и этими большими холмами, все еще сильными и могучими, вызывающе-гордыми своей первобытностью, между ними проложены две полосы железной и грунтовой дорог.

А на Вышке стоит пожарная каланча и часовня. На этой самой Вышке пролилась первая кровь 10 июня 1905 года. Кровь рабочих, пролитая ордами пьяных казаков, и эта кровь долго окрашивала в свой цвет все думы, мысли, настроения рабочих. Те, что верили, что за правду-матку, которую говорили здесь вот с часовни и каланчи пожарной (почти всегда с часовни и редко с каланчи), за эту правду правительство бить не будет. И когда под Вышкой показались сотни три казаков, объезжающих гору, чтобы забраться по дороге на Вышку, то никто и не шевельнулся. И кровь пролилась. Если 9 января 1905 г. гулким эхом прокатилось по рабоче-крестьянской России и заставило умы и сердца тревожно работать, усваивая политические уроки, то 10 июня 1905 года — это был местный комментарий, разъяснение, толковое и вразумительное повторение урока. И Мотовилиха его усвоила. И хорошо усвоила.

Вышка чаще всех других мест служила местом митингов и собраний. Население Мотовилихи до 35 или 40 тысяч. Дома Перми и Мотовилихи сходятся на Горках. Так что и не понять: где пермские, а где мотовилихинские Горки. В другую сторону Мотовилиха тянется узкой полоской между Камой и Вышкой, в сторону керосинного склада, к селу Левшину. Район этот называется Подвышка, а дальше Малая Язовая. За Малой Язовой есть небольшой лесок. В этом леске частенько устраивались наши нелегальные собрания: кружков, массовок, и в этом же лесу есть могила...

Заводский характер построения нашей большевистской организации делал ее дешевой, гибкой и всегда имеющей точную информацию из всех цехов. Мы знали, что волнует рабочих. Знали их думы, настроения, мы были фракцией пролетариата.

Меньшевики были редкостью на заводе. Приезжали, и скоро, увидев тщету своих усилий, уезжали или же мирненько работали с нами вместе, добровольно выполняя всякую работу.

Надо отметить и то обстоятельство, что наша организация всегда имела самую сильную боевую дружину. И самые смелые террористические акты — вроде убийства истязателя Касецкого, убитого во время спектакля в театре, одним выстрелом, сделано нашей дружиной.^[21] Даже Лбов, за время своего лесничества,

если и был долгое время неуловимым, то только благодаря помощи нашей организации. Мы были здоровым кулаком.

Каково же было мое удивление, когда приехав в Мотовилиху в 1917 году в апреле месяце, освобожденный из Орловской каторги, я увидел Совет рабочих депутатов завода, в котором не было ни одного выборного члена Совета — большевика. Если я оказался членом Исполнительного Комитета, то как представитель от партии. Но это продолжалось не больше двух недель. Рабочие-избиратели имели право отзыва депутатов во всякое время. Я пошел в свой цех на работу, где в 1906 году я был арестован (2-й снарядный цех). И проработав 2 недели, был выбран членом Совета; наряду с другими, тоже большевиками. Это был первый удар, за которым последовали другие, и скоро наш Совет завода имел традиционный большевистский вид. Мы завоевали вновь свои позиции, принадлежавшие нам по праву.

Попытки отвоевать у нас Мотовилиху были со всех сторон: и со стороны с.-р., и со стороны меньшевиков. Кадеты никогда не смели показываться у нас. Не было у нас и анархистов. Понимали и кадеты, и анархисты, что им здесь делать нечего.

Часто меньшевики всем составом Областного комитета Урала приезжали. Пытались устроить свой митинг. Обычно мы приходили на их митинг и оказывались большинством: избирали своего председателя (по традиции на всех собраниях председатели избирались), и мы оказывались хозяевами положения. Схватки были жаркие, но никогда, ни единого раза не заканчивались драками.

Частенько делали то же и с.-р. Не надеясь на свои местные силы, они мобилизовали все силы Областного комитета, но даже правые с.-р. Мотовилихи были левее левых с.-р. областников, и они были биты.

Все атаки со стороны с.-р. и меньшевиков отбивались нами местными силами, силами рабочих этого завода: Карякин, Сивелев,^[22] Борчанинов,^[23] я. Это основная ячейка, теоретически подготовленных рабочих, с большим революционным прошлым: все дрались на баррикадах в 1905 году, все побывали в тюрьмах и каторге. Они и выносили всю тяжесть работы. Единственный интеллигент: студент Петроградского Психоневрологического института Василий Иванович Решетников, считавший себя мотовилихинцем, хотя он Мотовилиху видел в 17-м году первый раз.

С этим Василием Решетниковым мы жили вместе, в одной малюсенькой комнате. Я спал на самодельной кровати, а он спал на полу. Вместе и столовались. А стол наш состоял по большей части из куска хлеба, нескольких огурцов, яиц, да еще иногда и

2. Обезоружение казаков

На большой улице в доме, где раньше жил знаменитый инженер Назаров, убитый в 1905 г. рабочими, и в котором потом жили другие инженеры завода, а в 1917 г. жил главный доктор Браков, в доме, приспособленном совсем не для пробы пулеметов, ружей и револьверов, собраний Исполнительного Комитета, хранения оружия, патронов и т.д. и т.п., а чтобы мирно жить и изобретать возможности веселого времяпрепровождения, в этом доме поместился Исполнительный Комитет Мотовилихи.

Работа Исполнительного Комитета — это не работа простая и мирная, а работа боевая в двух направлениях: надо разрушать мир эксплуататорский и защищать возможность построения нового мира товарищеской солидарности.

Но эта работа слагалась из тысячи самых мельчайших дел. Тут все есть: экспроприация фабрик, заводов, магазинов, домов, переселение буржуазии, уплотнение инженеров, добывание продовольствия, топлива, сырья, товаров, вынесение приговоров провокаторам, шпикам, жандармам, обезоружение буржуазии и сторонников старого строя.

В Исполкоме было всегда много народа. Дежурные красногвардейцы иногда были вынуждены разгружать Исполком, сами разрешая многие вопросы или опрашивая посетителей, направляя их то к одному, то к другому товарищу по специальности.

Заседания Исполкома немислимо было устроить днем, и они были всегда поздно вечером. Я был председателем. Решетников был выдвинут нами на пост председателя Городского Совета Перми. И после того, как мы расстались с Решетниковым, я переехал жить в Исполком: ближе к делу, думал я. Вначале спал на столах, без всякой постели, подложив под голову газету, укрывшись своим ватным пиджаком, а потом кто-то и откуда-то достал матрас, подушку и, наконец, кровать, и я устроился в одной из комнат.

Меня в Исполкоме не было тогда, когда я должен был выступать на митингах, собраниях, конференциях и т.д., а то все остальное время я был там.

Было это, кажется, в январе или в феврале 1918 г..^[24] Суточлный день. Входит секретарь, т.Туркин (надо сказать, что везде почти, где я был председателем, секретарем моим был всегда Михаил Туркин).

— Ты знаешь, Гавриил Ильич, там что-то неладное творится.
— Где?
— Да в Перми.
— А что там такое?
— Я хорошо не понял.
— Возьми трубку и поговори сам с ним.
— Да с кем, черт тебя подери?
— С Решетниковым. Беру трубку.
— Кто у телефона?
— Решетников. Здравствуй, Ильич.
— Здравствуй, Вася. Ну, что там такое? Туркин у тебя ничего не понял.
— Да я ему ничего и не рассказывал.
— Ну, так скажи.
— А вот что. Мы получили телеграмму, что по линии Вятка— Пермь движутся несколько ешалонов казаков. Ведут они себя вызывающе и прямо издевательски. Сегодня вечером они прибудут в Пермь. Как ты думаешь их укротить?
— Обезоружим, да и все.
— Не так-то легко. Во-первых, они слышали о Мотовилихе. Их пугали уже ею. А второе, что они едут на охрану Николо уссурйской ж.д. и имеют мандат за подписью Ленина и главкома Крыленко, и потому начхать хотят на всех.
— Ну, а мы их чихалку слошим и обезоружим, а если надо и мандат отберем. /... /

3. Узнаю: Михаил Романов в Перми

От станции через дорогу наискосок Исполком. Соскакиваю из вагона и быстро направляюсь к дверям станции. Жены рабочих каким-то чудом узнали, что мы приезжаем, и густой толпой загораживают дорогу к дверям станции.

Вечереет. Серо. На станции зажгли огни.

— Ну, пропустите меня, что ли?

— Куда тебя денешь? Лезь в серединку!

— Это в какую же?

— А в любую!

Балагурят и спешно расступаются.

Иду в Исполком. Доволен, что все обошлось лучше, чем ожидал. Без драки, без крови и без неурядиц. Улыбаюсь внутренне, когда вспоминаю злой взгляд Лукояновой:^[25] привыкла уже быть большим начальством и вдруг сюрприз. Тоже авторитет боится потерять... Все авторитеты...

— Ну как, Гавриил Ильич, — встречает вопросом тов. Тур— Все хорошо. Лучше, чем ожидал. Я вот сейчас расскажу. А скажи ты сначала, нет ли чего неотложного?

— Есть разные мелочи. У тов. Веревкина жена родила и заболела чем-то. Д[окто]р прописал легкую пищу, а Фоминых почему-то не выдает ни рису, ни сахару, ни белой муки.

— А ты?

— Что я? Я позвонил ему, а его не было, в город уехал, другие же ничего не знают.

— Выходит, что человек помереть может, прежде чем получит у нас что надо. Ну, Миша, а если бы я два дня не приехал и она бы померла. Какое впечатление составит у рабочих о нас? Ты напиши записку от меня, да выругай их как надо.

— Хорошо. Еще вот есть. Лебедева приходила от имени женщин просить тебя прочитать реферат «Зарождение человеческого общества»,^[26] такой же, какой ты читал для ответственных работников.

— Ну, это не спешно. Напомни потом. Еще?

— Телефонограмма от губвоенкома Лукоянова^[27] с просьбой немедленно сообщить, какое и сколько оружия имеет мотовилихинский Исполком.

— А зачем это ему?

— Не знаю.

— Это совсем не срочно. Можно не отвечать. А над Калгановым подшутить — требует, мол, губвоенком все оружие отправить в его распоряжение, вот разъярится парень.

— А ведь правда, ха, ха, ха... Есть различные бумажки, они у тебя в папке текущих дел, не срочные.

— А теперь я, товарищи, — обращаюсь к присутствующим,

— расскажу, как мы встретили казаков. — И рассказал. — Как видите, озорства, хулиганства как не бывало. Если они приехали не буйные, то уехали совсем смирные. Так что слух о том, что есть Мотовилиха, подействовал на них не в том направлении, в каком мы ожидали: мы ожидали готовности к борьбе, а оказалась готовность к сдаче.

Последующие эшелоны, а их было не меньше 15-ти, встречались и прощались так же, но уже с большим знанием дела, смелостью и меньшей затратой времени и с меньшими разговорами.

Только тогда, когда после казачьих эшелонов пошли эшелоны чехословацкие, вновь пришлось разговаривать, и довольно долго, — не хотели ссоры и резких столкновений с ними, но обезоруживали дочиста, оставляя только офицерам револьверы, да и то не всегда.

По другой линии, по направлению к Челябинску, по Самаро-Златоустской ж.д. тоже шли эшелоны чехословаков и казаков, но никто их не обезоружил, тогда как это вызывалось моментом: появился Дутов.

И когда обезоруженные нами эшелоны достигли Челябинска, оценив обстановку, они из присмиривших превратились вновь в буйных и распоясались окончательно. Это надо отнести за счет дряхлости, дрянности, рыхлости организации, которая была склонна больше разговаривать, энергично махать руками, выкрикивая грозные слова, а не проявлять нужную энергию действия. И эти обезоруженные казаки и чехословаки обезоружили челябинцев и овладели городом.^[28]

А челябинцы знали, кто к ним едет. Знали, и их предупреждали.

Теперь видно, что какая-то рука руководила стягиванием контрреволюционных сил к Челябинску. Почему к Челябинску? Потому что за Уральским хребтом начинается чисто крестьянский район, богатый хлебом, мясом, маслом, но не пролетарскими силами. При этом крестьянство Сибири никогда не знало крепостного права, не знало малоземелья, не знало помещичьей кабалы. И потому сопротивляться сильно не станет. И только тогда, когда, испытав на себе все прелести колчаковско-японской, американско-английской, чехословацкой полицейщины, крестьянство устремилось в леса и организовало партизанские отряды, которые решили исход драки [Так! — Публ.].

Если за Сибирью отрезать еще Украину, то продовольственная база советской власти сузится до чрезвычайности. А основой для этих операций служили казаки районов Дона и Кубани.

Тов. Решетников после обезоружения нескольких эшелонов должен был со своей хваленной ротой, разросшейся до батальона, пойти на финляндской фронт драться против немцев. Здесь он был ранен и вскоре от раны помер.

Вместо него опять выдвинули мы председателя: Борчанинова, Александра Лукича. Он был коренной мотовилихинец. Его отца 10 июня 1905 г. убили казаки на Вышке. Он был руководителем вооруженного восстания Мотовилихи в 1905. Он отбыл каторгу.

Слабостью этого прекрасного товарища, беззаветно преданного борца, теоретически вышколенного пролетария, хорошего оратора — была выпивка. Она ему едва не стоила головы. В то суровое время, когда пролетарии, подтянув животы, умудрялись жить на четверть фунта хлеба из нечистой муки и в то же время состоять в Красной Гвардии, ожидая каждую минуту нападения и каждую минуту быть готовыми на смертную схватку,

в это время надо было быть вместе с ними — голодать, холодать, переносить все невзгоды и муки. Горе тому, кто хочет пировать во время хуже, чем чумное. А тов. Борчанинов не поберегся. Когда он был в Мотовилихе, мы знали его слабость. Мы берегли его. Мы скрывали его от глаз. Да и то сказать, что компании подходящей не было. Среда была другая. Меньше проявлялась слабость. А там он попал в другую среду, его прорвало: он был арестован отрядом красногвардейцев на улице Перми в 12 часов ночи, пьяным вдрызг. Участь его была уже решена. И только случайно узнав об этом, я спешно предупредил по телефону, чтобы до моего приезда в Пермь ничего не предпринимали. А сам тут же сел на коня и моментально направился в Пермь.

Это было рано утром. Пермь спала. Я подгонял кучера, неся во всю прыть. Гулко стучали копыта сильной рысистой кобылы, а еще сильнее стучало в груди сердце: неужели не застану?

Вот я и у цели. Вхожу. Говорю свою фамилию красногвардейцу, меня пропускают. Меня вводят в комнату, и что же? Сидит у стола Лукич наш, а под столом валяется Шумайлов, его заместитель.

Лукич протрезвился настолько, что понял обстановку и понял положение. Понял, что его расстреляют.

Я забрал того и другого и уехал.

Наряду со склонностью выпить, он любил начальство и подчинялся ему. Может быть, это друг с другом тесно связано: трудно встать в позу независимого человека, когда знаешь за собой много грехов и грешков!

Сменивши тов. Решетникова на посту председателя, Борчанинов стал принимать участие от г.Перми в разоружении чехословаков, и как-то случайно я его встречаю там, и он мне говорит:

«Ведь если их не обезоружить, то они смогут обезоружить нас и освободить Михаила Романова».

— Как? Разве он здесь?

— Да.

Тут разговора продолжать не пришлось. А я только здесь и узнал, что Михаил Романов в гостях. ^[29]

Меня удивило только одно. Почему мне не сообщили? Очень странно. И только тут я понял ту нервность пермяков и их паничность, проявленную в вопросах о разоружении. Вот оно что. С этого времени я более чутко стал присматриваться к тому, что делается в Перми. /.../

События бурным потоком несли нас по своему течению.

В Казани городская дума и земская управа взъерепенились и не хотели сдаться, а совет, наполненный мещанами от большевизма, не решался ничего сделать. Да и силенки не хватало. Пришлось послать красногвардейцев Мотовилихи. /.../

Бывали наши отряды во всех уездных городах Пермской губ., и Мотовилиха была грозой и раньше, а тут совсем превратилась в какого-то великана сказочного, который и видит и слышит далеко, далеко.

Во всяком случае, мы не имели никакого писаного права посылать в Казань, Вятку, Тюмень, Екатеринбург и т.д. и т.п.. своих красногвардейцев, но у нас была сила, мы помогали товарищам, у которых этой силы не было или было меньше. И если гудок Мотовилихи был слышен на 15–20 километров в окрестности, то мотовилихинский говорок красногвардейской убедительной речи можно было слышать на тысячи километров. Красногвардейцы как тень ходили за старым миром и укладывали его в домовину, крепко вколачивая гвозди в крышку. Это создало репутацию Мотовилихи. Те, кто хотели бояться, боялись до паники, до ужаса, а те, кто хотели любить, любили.

Грозой была Мотовилиха для старого режима, грозой для режима буржуазии и твердой рукой победоносной революции. Одни ее боялись и ненавидели, а другие любили.

О степени страха, внушаемого Мотовилихой буржуазии, говорит следующий факт.

В начале 1918 года Народный Комиссариат финансов издал декрет о чрезвычайном налоге на буржуазию. Буржуазия саботировала, и деньги приходилось брать силой. Так было повсюду, так было и в г. Оханске.

Местные власти никак не могли заставить буржуазию открыть свои тайники. Буржуазию арестовали. Но толку никакого. Она столковалась и держалась крепко. Едут мотовилихинцы, но и они поделаться ничего не могут. Как последнее средство т. Калганов решил показать арестованной буржуазии тень Мотовилихи. Приходит в тюрьму. Собирает всю буржуазию и говорит: «Собирайте Ваши вещи, Вы сегодня едете». — «Куда?» — спрашивают тревожно. — «В Мотовилиху». Неописуемый ужас на лицах. И... тайники с золотом открылись.

Так буржуазия, рассказывая и расписывая о жестокостях Мотовилихи, прежде всего сама поверила в свою фантастическую басню и, поверивши, поплатилась всем своих богатством.

Тов. Калганов попал в ловушку со своим отрядом в 300 человек в Омске. Поддался на провокацию начальника милиции г.Омска и был окружен колчаковскими офицерскими отрядами.

Он сумел выйти из окружения, но по дороге, при побеге из Сибири на Урал, был схвачен, опознан и буквально растерзан.

5. Право суда над провокаторами и истязателями **Мотовилиха завоевала**

Еще при Временном Правительстве Мотовилиха впала в немилость у власти за нрав свой.

Известно, что правительство Керенского очень милостиво обошлось с провокаторами. Оно их наградило тюрьмой месяца по три. То же примерно было и с самыми свирепыми истязателями и палачами: полицейскими, жандармами и шпиками.

Мотовилиха каким-то чудом находила провокаторов и особенно отличившихся истязателей и приводила к себе. И каждый раз власти Перми намеревались вырвать из рук ее этих гадов, но каждый раз неудачно.

Помню Митьку Бажина.^[30] Провокатор, по указанию которого не одна голова революционера слетела с плеч. Он заделался монахом в монастырь и жил себе в качестве смиренного инока Петра в Белогорском подворье. Узнали мотовилихинцы и извлекли сего раба божия. Но тут вмешалась власть и настояла на том, чтобы прямо из подворья его отправили не в Мотовилиху, а в губернскую тюрьму в Перми. Так и сделали. Но до тюрьмы он не дошел. Попытались следствие начать и установить, кто виновен, кто конвоировал. Но следователь, приехавший в Мотовилиху, понял, что лучше оставить все, как есть.

То же было с помощником пристава, Буровым. Истязал, мучил, пытал всех: с.-р., меньшевиков, большевиков, анархистов, максималистов. И вот он попадает в руки Мотовилихи. Сердобольное меньшевистско-эсеровское начальство посылает свой конвой, не доверяя столь драгоценную особу нашим и красногвардейцам, и забирает его. Но когда конвоируемый Буров проходил по полотну железной дороги около малой проходной завода, то раздался выстрел — и голова Бузова просверлена.

А кто стрелял? После опыта со следствием по делу Митьки Бажина следствие назначено не было. И было установлено, что Мотовилиха с провокаторами и истязателями сама разбирается. Это негласный и неофициальный договор. Мотовилихинские с.-р., меньшевики были целиком на нашей стороне в этом вопросе.

Надо сказать, что в то время, как в Перми были и хулиганство, и погромы, и грабежи, в Мотовилихе можно было спать с открытыми дверями и окнами. Тихо было.

Один из прокуроров старого времени приехал в Мотовилиху,

командированный для инструктирования следственных властей в связи с развивающимися грабежами и кражами. Это было еще при власти с.-р., кадетов и меньшевиков. И этот прокурор очень удивился, когда начальник милиции, правый с.-р.,^[31] заявил, что у нас ни о кражах, ни о грабежах не слышно. Тогда он сказал ему:

— Мы с вами члены одной партии, скажите по совести, много расстреляли вы воров, хулиганов, грабителей? Начальник милиции ответил:

— Как член партии и как честный революционер я вам заявляю, что ни одного ни вора, ни бандита, ни хулигана не расстреляли.

— Я тогда ничего не понимаю. Я приписал отсутствие всяких преступлений упрощенной юстиции, а оказывается тут что-то другое, для меня непонятное.

Он тут же возвратился восвояси, а начальник милиции хохоча рассказывал нам о том, какое мнение о Мотовилихе в кругах с.-р. и меньшевиков в Перми.

Но а если в Перми с.-р. и меньшевики думали о Мотовилихе так, то как думали уезды? Если такой Мотовилиха слыла при власти с.-р. и меньшевиков, то какой она казалась напуганному обывателю при власти большевиков?

А в самом деле: революционная встряска в сознании рабочих обратила все существо их в сторону великих вопросов, которые они призваны решать, и хулиганство, воровство, бандитизм, как выражение единоличного, бессильного протеста против всего капиталистического уклада, были задавлены всеобщим протестом, всеобщим походом на этот грабительский, эксплуататорский мир, и темные корыстные чувства и мысли пугливо попрятались, зарывшись глубоко в тайники человеческого существа. Хулиганы, вору, бандиты перерождались на глазах у всех и делались одержимыми, нетерпеливыми, готовыми на все мыслимые жертвы революционерами. И не один десяток голов своих сложили они на фронтах. Но это было в Мотовилихе, которая вся, поголовно, кипела в предчувствии великих битв, чутко насторожилась, как верный часовой глубокой ночью стоит на часах на боевом участке. Он знает, что враги тут, вблизи, он ощущает их всем своим существом и напряженно вперяет глаз в темноту, ловит каждый шорох чутким ухом, напряжены все нервы до предельности. И в это время все отлетело, все потеряло значение, все превратилось в несостоящее внимания, и осталась одна точка, поглощающая его всего эта точка — враг и предчувствие скорой, невиданной тысячелетиями битвы. Это в Мотовилихе, сделанной из одного куска, она — рабочая.

Мотовилиха и раньше привлекала к себе силы, и после. Был установившийся обычай, что всякий видный работник, приезжающий на Урал, считал необходимым первым долгом побывать в Мотовилихе, отдать честь рабочим Мотовилихи.

Здесь работали когда-то (в 1906 г.) Яков Михайлович Свердлов, Евгений Преображенский,^[32] Артем,^[33] Митрофанов^[34] и т.д. При нашей власти приезжали Калинин, Зиновьев, Лашевич^[35] и т.д. И все они первый визит, первое выступление делали в Мотовилихе. (Только Троцкий, будучи на Урале, не был в Мотовилихе, но ведь он не был большевиком, да и откуда же быть у него традиции старых большевиков?) Это было большевистской традицией, установившейся с давних нелегальных времен.

И здесь была разительная разница в нравах. Помню, например, проезд Зиновьева. Это уже было тогда, когда Екатеринбург был взят колчаковскими войсками. Приехал в Пермь Зиновьев. Как-никак, а председатель Коминтерна. Один из старейших членов ЦК нашей партии. Приехал в Мотовилиху, и там организовали митинг в стенах завода. И все. Другое дело Пермь. Там устроили пьянку. И устроили ее тогда, когда Мотовилиха, да и все рабочие Перми получали по четверть фунта хлеба. Устроители пьянки сами чувствовали преступный характер этого пира во время чумы. И конспирировали. М.Туркин, как охотник выпить, был приглашен на этот пир, но предупрежден, чтобы он не сказал этого мне: боялись скандала, боялись, что я приду с красногвардейцами и разгоню эту пирующую братву.

Узнал я об этом через несколько дней от того же Туркина.

Душой, организатором этого пира был Войков, который недавно перекочевал от меньшевиков к нам и пробивал себе дорогу к чиновным местам.^[36] Этот пир, как это ни странно, и помог ему в этом деле. Он не обладал никакими данными, чтобы иметь какое-либо влияние в рабочих массах, но обладал всеми данными, чтобы нравиться начальству. И пошел в гору. Хорошо, что его убили белогвардейцы. Это создало ему имя.

Надо сказать, что Войков почему-то боялся и ненавидел меня. Помню собрание ответственных работников в Перми. Выступает Войков и довольно неуклюже угрожает репрессиями Сорокину.^[37] Я с места заметил: «Ну, по части угроз Вы осторожнее!» Он и без того неловкий говорун, а тут сразу растерялся, спутался и как-то нелепо умолк. Поправлять его пришлось Смильге.^[38] Вражду он ко мне питал глубокую, а почему — я не знаю. Когда он выехал в

Москву и оказался вне пределов моего влияния, он при встречах даже не раскланивался, как он это делал с удивительной почтительностью в Перми.

Одно несомненно. Те приемы, которыми он обладал, чтобы понравиться Зиновьеву и высокому начальству вообще, на меня производили отталкивающее впечатление, а других он не знал. Это был безусловно чужой для пролетарского движения человек. Он чувствовал, вероятно, что я вижу его, и «любил» меня. Это типичный карьерист, чиновник, пролаза. Я же к нему относился очень терпимо: может быть, оботрется и станет лучше выглядеть, пусть работает себе на славу. Но повстречавшись несколько раз в Москве (он был в Северолесе), я увидел, что горбатого могила исправит. И исправила. Памятник себе заработал. Не будь этого покушения на Войкова, он даже в современной насквозь бюрократической ВКП(б) и то не удержался бы, а вылетел при одной из чисток за пьянство и прочие художества, но ни в коем случае не за уклон. От уклонов он был гарантирован. Надо сказать еще одно слово. Тогда, когда Пермь и Мотовилиха были заняты колчаковскими войсками, удравшие раньше всех бюрократы, приехав в Вятку и, очевидно, желая оправдать свое поспешное бегство, начали строчить в газетах, что в Мотовилихе было восстание.^[39]

Колчаковские же газеты, желая подбодрить своих солдат, тоже писали, что в Мотовилихе рабочие восстали. В самом деле это сплошная ерунда. Я выехал из Мотовилихи, когда Пермь была уже занята, а в Мотовилихе: на Висиме, Заиве и Вышке были уже колчаковские войска.

Единственное, что было, но это задолго до сдачи: группа инженеров — Темников, Ильин, Иванов, Печонкин^[40] и др. — портили изготавливаемые орудия при пробе на полигоне, всыпая в жерла орудий песку. Это было. Но это было ликвидировано до занятия Мотовилихи. И честь раскрытия этой «работы» принадлежит беспартийным рабочим полигона. Когда я догнал так поспешно отступившие штабы, комитеты, исполкомы и т.д., то меня встретили возгласами: «Как? ты жив? А мы тебя похоронили» — «Кого заживо хоронят, тот долго живет», — отшучивался я. И тут же сообщили: «Ведь в Мотовилихе восстание было, а как же ты остался цел?»

Мне много усилий стоило, чтобы доказать, что никакого восстания в Мотовилихе не было. Многие так-таки и остались при своем убеждении, что было так-таки восстание. У них была потребность оправдать свое поспешное, прямо паническое и ничем не оправдываемое бегство. К их числу принадлежал Лашевич, главный виновник сдачи Перми. Окружающие

Лашевича спецы вскоре поняли его слабость (любил выпить) и использовали это на все 100%. Пермь была пропита.^[41] Зиновьев же, незадолго до сдачи Перми приезжавший сюда, только санкционировал пьянку, приняв в ней деятельное участие.

Об этом как-нибудь в другой раз. Но теперь же надо отметить, что была довольно крепкая, строго конспиративная организация офицеров, которая действовала в направлении, желательном для армии Колчака. Эта же организация хотела увезти Михаила Романова, но ее желание было предупреждено.

Глава II.

СУДЬБА МИХАИЛА РЕШАЕТСЯ

7. Тяжелый урок

Это было весной 1918 г. Челябинск находился во власти колчаковских войск. Во власти войск Учредительного Собрания. Войска эти очень сильно нажимали на наши красногвардейские отряды, которые хорошо умели умирать, но плохо сражаться. Фактически всем направлением Екатеринбург—Челябинск командовал Мрачковский.^[42] Рабочий, старый большевик, прошедший школу подполья, тюрем, ссылок. С красногвардейцами, большей частью рабочими, плохо владеющими оружием, и почти при полном отсутствии офицерского состава дрался с хорошо организованной офицерской армией.

Этот период борьбы был периодом борьбы добровольцев с той и другой стороны. И в плен не брали, да и не сдавались: драка была жестокой, беспощадной. Межнациональные войны не знают такого ожесточения.

Особенно жестоко поступали с теми комиссарами, которые почему-то не смогли покончить с собой, и их схватывали живыми. Самая разнузданная жестокая фантазия заплочных дел мастеров не может придумать ничего более жестокого, чем те пытки, которым подвергали комиссаров. Здесь все было: вырезывание ремней на спине, загоняли под ногти деревянные шпильки, выпускали кишки и приколачивали их к дереву и в то же время, подгоняя раскаленным железом, заставляли бегать вокруг дерева, выматывая их из себя.

И не только комиссаров, но и жен их. В тех местах, где побывала нога белых банд, и если им попадалась семья комиссара, то они ее не расстреливали, нет, а замучивали в пытках.

И не только коммунистов, а достаточно, если им попал мужичок, крестьянин, председатель комитета деревенской бедноты, чтобы ему придумать мучительнейшую из смертей, вроде того, что его зарывали измученного, истерзанного всеми видами пыток и побоев, но еще вполне живого.

Этакое, столь просвещенное и гуманное отношение офицерской падали к населению, к «коммунистам», а ведь в глазах офицерских оболтусов все коммунисты, которые

участвовали в отобрании у помещиков и буржуазии земель, лесов, заводов, домов и т.д. Такое отношение помогало населению скоро понять и раскусить эту разнузданную, кровью пропитанную, золотопогонную чернь. И оно формировало партизанские отряды и делало нужное революции дело. Ковало победу революции. Но слишком дорогая была плата за нравоучение, за курс политической азбуки.

Один завод за другим переходил в руки колчаковских озверелых орд. Близились войска к Екатеринбург. Находились недалеко от Верхнего Уфалея2.^[43]

В это время все, что было можно отдать с завода фронту, было отдано, но перелома создать не удавалось.

Как сейчас помню митинг на той самой Вышке. Митинг был большой. Выступал один товарищ из Челябинска, кажется, Лепа. Говорил о терроре. Речь была гладкая, ровная, но Мотовилиха слыхивала всяких ораторов, и ее удивить трудно. И тем более ровненьким лекторским сравнением ужасов террора белого с террором красным. Явно было, что надо публику раскачать, взбудоражить, а у Лепы этого-то как раз и не было. А дело шло о вербовке добровольцев. Мне думалось, что меня Мотовилиха слышала чуть не каждый день, и хотелось угостить новеньким. В запасе были и еще челябинцы. Но еще не кончил говорить т. Лепа, как рабочие стали выражать нетерпение. И тут же на трибуне (часовня) мы посовещались и решили, что надо выступить мне.

Лепа кончил. Я передал председательство и беру слово. Говорил я не хуже, чем раньше, а может быть и лучше, так как воспользовался горячим, свежим материалом, сообщенным челябинцами. Но за все время своей речи я чувствовал, что не могу ухватить за живое рабочую массу. Чувствовал, что какая-то не понятая мной, не узнанная вещь мешала мне схватить за живое. Потом это разъяснилось, но во время речи я чувствовал, что слова мои ударяются и не пробивают броню равнодушия и недоверия, не проникают в душу слушателям. Я тоже говорил о терроре и поставил вопрос так: да, мы расстреливаем и будем расстреливать. Но кого мы расстреливаем? Провокаторов, шпииков, жандармов, офицеров, помещиков, буржуа. А укажите мне хотя бы один случай, где бы мы расстреляли рабочего и крестьянина? Пусть он будет меньшевиком, с.-р.-ом, вы такого случая не укажете. Этого у нас нет. Пусть мы спорим, пусть мы не согласны, но мы, рабочие и крестьяне, не должны брать друг против друга оружия, мы — одна семья труда. Также, я думаю, и наши с.-р. и меньшевики не пойдут воевать против нас за помещиков и буржуа. А я знаю, что многие наши меньшевики и с.-р. умерли с другими красногвардейцами смертью славных

бойцов, сражаясь против общего врага — помещиков, буржуазии, попов. Но те с.р. и меньшевики, которые хотят стрелять в нас, получают достойный ответ. А среди наших рабочих таких меньшевиков и с.р. не было, нет и, надо думать, — не будет.

Кончил под жидкие хлопки. Не раскачал, не взбудоражил. В чем дело? Что-то есть. А что есть? Это меня удивило.

Митинг кончился. Челябинцы отправляются в Пермь. Идем, перебрасываемся фразами. А из головы моей не выходит холодный душ, которым меня обдали мотовилихинские рабочие. Неужели я теряю у них доверие? Мне это больно. Но я не говорю об этом челябинцам.

Материально я живу хуже, чем любой из рабочих. Они это знают. Не один, так другой подкармливает меня. Живу с ними. Готов в любой момент стать в ряды красногвардейцев и в ряды рабочих завода. Они знают меня. Знают и сами видели, что еще 16-летний я шел на экспроприацию оружия. Видели меня на своих улицах против казаков с оружием в руках. Были свидетелями ареста в 1906 г. И знают, что с этого времени я не был свободен, и только революция открыла мне двери Орловской каторжной тюрьмы. Все это они знают. Они мне верили. Что же случилось? Волнуюсь. Если я не смогу влиять на них, то никто не сможет.

Распроставшись с челябинцами, я иду в Комитет партии. Как только я остался один, подходит ко мне один из старых рабочих, Васильев, с которым мы в 1905–1906 гг. работали вместе на одном верстаке во втором снарядном цеху, где меня и арестовали. Знает он меня. Знаю его и я. Он все еще беспартийный. С.-р.-ствовал, а потом вышел из партии, а к нам не вошел. Теперь он работает в инструментальном цехе.

Подошел. Поздоровался. Вижу что-то бледный и волнуется.

— А ты знаешь, Ильич, что ты неправду говорил?

— Какую неправду? Я говорил и говорю только правду.

— Да я тоже думал, что ты правду говоришь, а теперь знаю, что нет.

— Откуда ты знаешь?

— Да знаю.

— Ну и скажи.

— Ты говорил, что советская власть не расстреливает рабочих, если бы они были меньшевиками и с.-р.-ами.

— Да, говорил. Ну и что же? Разве это неправда?

— Нет, неправда. А где такой-то, где такой-то? — и называет несколько имен меньшевиков и с.-р.-ов.

Я задумался. В самом деле, что-то их не вижу. И спрашиваю:

— Где же они?

- А ты что, не знаешь, что ли?
- Не знаю.
- Ну, брось. Кто тебе поверит, чтобы ты, да не знал!
- Честное слово, не знаю.
- Расстреляны.
- Не может быть.
- А вот и может.
- Я узнаю. А если это неправда?
- Неправда? Расстреляй меня, если это неправда.

Прощались. Думаю: вот оно что! Он прав, как и все рабочие правы, обдав меня душем холода. Я плох ли, хорош ли, но я — руководитель мотовилихинской организации, и вот я не знаю, кто и когда расстрелял рабочих меньшевиков и с.-р. Очень все это странно. За моей спиной, прикрываясь моим авторитетом, расстреливают рабочих тайно от меня. Не только рабочие мне не верят, но я и сам не верю, что это так. Надо узнать, обязательно узнать и как можно скорее. Но разве сегодняшний прием рабочих на митинге не говорит ничего? Ведь они все знают, что это так, а я не знаю. Ну и положение!

8. Рассказ Борчанинова

Сидим мы в Исполкоме Мотовилихи, вернее, в моей комнате и разговариваем на всяческие злобы дня. Мы двое: я и Борчанинов.

После того, как т. Борчанинова задержали красногвардейцы пьяным, ему нельзя было оставаться председателем Совета. Это все понимали. Понял и он. И он стал собирать добровольческий отряд мотовилихинцев, чтобы идти с ним на Дутова:

— Драться поеду. Подальше от интриг. Ведь это Сорокин меня подвел. Мы с ним вместе пьянствовали. Он ушел раньше меня всего на пятнадцать минут, и все это устроил. Ну, да черт с ним!

— А ты меня, признаться, удивил, когда сообщил, что Михаил Романов в Перми.

- А ты не знал, что ли?
- Уверяю тебя — нет.
- Ну, как это могло быть?
- Да вот так, не знал, да и все. Не странно ли, правда?
- Не думаешь ли ты, что от тебя конспирировали?
- А ведь похоже.
- Да, если правда, что ты не знал, то действительно похоже.
- А почему это?

— Трудно сказать. Я тебе не говорил потому, что думал, что ты все знаешь. Может быть, и другие то же самое.

— Сдается, что нет. Тебе-то я верю, а вот насчет других, это чересчур кажется сомнительно. Не нравится мне это.

— А это все исходит от Сорокина и Лукояновых.^[44] Дрянные интриганы! А тебя они боятся.

— Ну странно, боятся, а не говорят. Если бы боялись, то сказали.

— То-то и есть, что наоборот. Что они боятся тебя — это я знаю наверняка, а вот не говорили потому, что, по их мнению, ты все можешь сделать, если захочешь.

— Что это «все»?

— Я говорю о Михаиле;

— Так выходит, что они охраняют его от меня?

— Похоже.

— Ну, этого еще не доставало.

— Не доставало, так получи!

— Все это как-то не по-нашему, не по-большевистски, не по-товарищески.

— Да где же им товарищами-то быть? Без года неделю в партии, интеллигентки, и ты хочешь, чтобы они сразу большевиками стали?

— Да не хочу, а на какой же черт они нужны нам, если они не большевики.

— Может быть, будут. Ловко они меня подвели? Сами устроили пьянку, вместе пили, а потом вперед нас с Шумаевым ушли, и красногвардейцев навстречу послали. Чем это не большевизм?

— Ну, а ты тоже хорош: дорвался и нализался.

— Да, грешен. Слабоват я на это место. А это их не делает все же честными партнерами, большевиками. Я пью, но я большевик. А они и пьяницы, и не большевики. А Федор Лукоянов еще и кокаинист. Вот и боятся тебя. Они чувствуют зависимость от тебя, а им хочется быть большим начальством.

— А ты знаешь, что они расправиться с тобой хотели?

— А что я слепой и глупый? Теперь-то знаю, а не знал, когда шел пьянствовать. А как ты узнал?

— Вовремя приехал! Ну, довольно об этом. А вот скажи-ка, когда привезли Михаила?

— Привезли его в начале декабря, кажется.^[45]

— Одного?

— Нет, двенадцать человек охраны старого времени, его личной охраны во флотской одежде. Жандармский полковник Знамеровский с женой и какая-то еще баба, должно быть,

Михаила, но не жена его. А затем личный секретарь, английский лорд Джонсон.^[46]

— Ну? Привезли, и вы что с ними сделали?

— Посадили в губернскую тюрьму. Но вскоре стали получать из центра за подписью Свердлова и Ленина телеграммы, предписывающие освободить их.^[47]

— А вы как?

— Мы? Мы освободили и установили надзор ЧК.

— А где же он поселился?

— В Королевских номерах.^[48]

— Все там?

— Все, конечно. Только полковника Знамеровского мы вскоре опять посадили.

— Почему?

— Да ведь он жандармский полковник.

— А не странно ли, жандармского полковника посадили, а Михаил на свободе. Тот, кому этот жандарм служит верой и правдой. Какая-то убогая политика.

— Да ведь насчет Михаила есть прямые предписания, а насчет Знамеровского нет. Как ты этого не понимаешь?

— Только в этом и дело?

9. Приказы Ленина и Свердлова в защиту Михаила

Я узнал, что Ленин и Свердлов действительно дали телеграфное распоряжение освободить Михаила. Больше того, через некоторое время я узнаю, что в Перми получено предписание за подписями Ленина и Свердлова снять надзор ЧК за Михаилом. Никакого сопротивления, самого слабого протеста наши местные власти не проявили. Сняли надзор ЧК и установили надзор милиции.

Через несколько недель новое предписание Ленина и Свердлова: освободить Михаила из-под надзора милиции и не рассматривать Михаила как контрреволюционера.

А потом и еще: разрешить Михаилу выехать за город на дачу без всякой охраны [Первое время над М.А. и Джонсоном был установлен гласный надзор милиции, и они ежедневно ходили отмечаться в местный штаб Красной гвардии. Затем надзор был снят и Пермский исполком заявил о снятии с себя ответственности за «целость» Михаила Романова. См. далее в тексте.].

Наряду с этой ошеломившей меня информацией, я узнаю, что в Перми ведется усиленная агитация и пропаганда,

изображающая Михаила, как благодетеля, который дал народу свободу, а с ним поступают варварски, арестуют, сажают в тюрьму, устанавливают надзор ЧК, устанавливают надзор милиции, — словом, поступают как с мелким политическим пройдохой.

Это дело рук кадетов, думаю я.

А кроме этого, я узнал, что есть какая-то организация офицеров, желающая освободить Михаила из-под большевистского ига.

10. Умный офицер

А узнал я это так. Был между другими офицерами арестован один мотовилихинец, Темников,^[49] если не ошибаюсь. Рассказывали мне, что отличался он от других большой начитанностью, толковостью и знанием. Что среди офицеров было прямо чудо. Выглядел он среди них, как белая ворона. И будучи в очень малых чинах, пользовался громадным авторитетом среди них. Он походил на вожака. Все это мне рассказали. Участь их была уже решена — их решили расстрелять.

У меня явилась мысль повидаться с этим офицером. Я сказал, чтобы его привели ко мне. Из Пермской Губчека приводят ко мне человека повыше среднего роста, с продолговатым лицом, серые с голубизной глаза светились умом и решимостью. Крепко сжатые губы казались более тонкими, чем они были на самом деле. Рот был не широк. Подбородок крепкий, не мясистый. Нос прямой с горбинкой, чуть-чуть заметной. Шея и голова крепко вставлены в плечи. Светлый шатен. Был он в штатском, но бросалась в глаза его военная выправка. Ему было не больше 30 лет. Мне сказали, что это тот офицер и есть.

Я попросил всех, в том числе и секретаря Туркина, выйти и пригласил его сесть. И вышло так, что первый вопрос задал не я, а он:

— Вы будете председатель Совета Мясников?

— Да, это я.

— Я о вас много слышал. Но совсем не представлял вас таким.

— Что же вы слышали, если это не секрет?

— Какой же секрет? Слышал, что вы старый большевик, умный и очень опасный агитатор и другое.

— А что же это «другое»?

— Что вы, как член Центрального Исполнительного Комитета

и как человек, пользующийся исключительным влиянием среди рабочих, держите в своих руках судьбы губернии.

— Это преувеличение. Мне и в голову никогда не приходило использовать свое звание члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.^[50] А влияние имею не я, а наша организация. Ну, продолжайте.

— И еще — что вы старый друг председателя ВЦИК Свердлова.

— Да, но что же еще?

— Да и многое другое.

— А откуда вы все это знаете?

— Слухом земля полнится.

— Почему моя персона вас заинтересовала?

— Да просто так.

— Ну, все-таки. Вы знаете, например, что-нибудь о председателе. Губернского исполнительного комитета, Сорокине? Знаете его биографию так же, как мою?

— Нет, не знаю.

— Это уже интересно. Но это оставим. Меня интересует другое: ваша биография. Я тоже кое-что слышал о вас.

— А что же именно?

— Я предлагаю вам рассказать свою биографию так же, как мою. Надеюсь, что вы ее знаете немного лучше, чем мою.

Рот подернулся мало заметной улыбкой, а глаза блеснули тревожным упрямством, и он ответил:

— Я думаю, что моя биография для вас малоинтересна. Я подумал: как он держится свободно, чувствует себя, как в гостях, а ведь знает, что его ждет пуля, что он приговорен. Без убежденности в своей правоте этого быть не может. Я предлагаю ему папироску и спрашиваю:

— А что вы читали по общественным вопросам?

— Я читал много. По истории русской С.Соловьева, от корки до корки, а по философии Владимира Соловьева. Их больше всех ценю. Из беллетристики больше всего люблю Достоевского.

— А Покровского, Ключевского, Платонова и Милюкова?

— Читал отрывки, и их достаточно, чтобы не читать их.

— А Толстой, Горький и Чехов?

— Толстого читал и не люблю, а Горького не читал и не собираюсь, если не считать его пьесы «На дне». Чехова читал.

— Ну, разумеется, ничего не читали по философии ни Богданова, ни Плеханова, ни Ленина?

— О Богданове я даже никогда и не слышал, а Плеханов и Ленин? Ну разве они писали что-нибудь по вопросам философии?

— Да, писали, и немало. Особенно Плеханов и Богданов.

— Признаться, не знаю.

Разговариваю я с ним, а мозг сверлит одна мысль: не может быть, чтобы он не знал, что Михаил Романов в Перми, и каково же его отношение?

— А вот ближе к нашей живой жизни. Как вы смотрите на вопрос о форме правления в России?

— Мои симпатии на стороне конституционной монархии, я стою на позиции декабристов.

— Но не все же декабристы стояли за конституционную монархию?

— Да, но я на стороне тех, кто были за нее.

Думаю: запоздалый декабрист хуже мартовцев. И решаю: кадет. А потом и спрашиваю:

— Кто же, по-вашему, должен быть монархом?

— Это уже известно: Михаил Александрович.

— А почему не Николай Александрович?

— Да потому, что он оказался от престола и еще потому, что его связь с Распутиным погубила его в глазах всего русского народа, и потому, что он не умный.

— Ну, а фабрики, земли, леса кому должны принадлежать?

— Как в земле русской должен быть хозяин, так хозяин должен быть на фабрике и в поместье.

— Значит, все по-старому?

— Нет, все по-новому. Надо переменить хозяина русской земли, чтобы он управлял умно и в согласии с народом, а от этого все пойдет по-другому.

— Вы думаете, что Михаил Александрович — единственный, кто может дать устройство всей русской земле?

— Да, и не только русской, но и всему славянству.

— Конкретно?

— Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и т.д.

— И это должно быть объединено в единое государство под управлением Михаила II?

— Да.

— Значит, вы счастливы, что видите здесь в Перми своего верховного вождя?

— О, нет. Я был бы счастлив, если бы он находился совсем, совсем в другом месте.

— Например?

— Во главе своих войск.

Сказал он это и пристально глядит мне в глаза. Я его понял. Он тревожится: не выдает ли что? Он настороже. Во главе своих войск можно было бы понять:

1. во главе войск, которые дерутся теперь против немцев, и 2.

во главе войск, которые дерутся против нас.

Я его понял хорошо.

— Да, я знаю, что вы работали над освобождением Михаила II из большевистского плена.

Молчит.

— Скажите, часто вы виделись со Знамеровским?

— Не очень.

— Сколько раз и где?

— Вы хотите из меня предателя сделать? Этого я вам не скажу.

— Какого предателя? Разве есть что предавать? И что же проще простого, как один офицер видит другого?

Молчит и волнуется.

Я чувствую, что я наступил на мозоль. Вижу, что у него два мнения: первое — я знаю, что он член организации, поставившей себе целью освободить Михаила, и второе — что я ничего не знал, и он мне дал ключ, указал на наличие этой организации. Он не боится ответственности за свои действия перед каким угодно судом, но боится, что он невольно дал мне понять, что организация была, т.е. выдал тайну существования организации, самый факт существования которой может отразиться на судьбе Михаила.

Я чувствовал также, что разговор вести дальше нельзя, он уже чувствует во мне следователя.

Помолчав недолго, он спрашивает:

— А скажите, пожалуйста, почему вы вызвали меня к себе?

— Да просто, поговорить...

— А почему меня именно?

— А потому что я слышал, что вы умнее других и проч.

— А чего это «прочее»?

— Знаете дела своей организации лучше других.

— Что я могу проболтаться?

— Ну, на это я не рассчитывал особенно.

— Знали вы о существовании организации до моего разговора с вами?

— Да, знал, — покрывив душой, ответил я и спрашиваю. — А если бы я вам дал слово, что разговор останется между нами и только между нами, вы рассказали бы мне об организации что-нибудь?

— Нет.

— А если бы в прибавку к этому я освободил бы вас сейчас же отсюда, вы сказали бы что-нибудь?

— Нет.

— Думаю, что нам надо разговор прекратить. Вы поедете

11. Михаила надо убить, думаю я

Разговор с этим офицером убедил меня: 1-е — есть организация офицеров в Перми, поставившая себе целью выкрасть Михаила; 2-е — что Михаил связан с ней и 3-е — что какая-то рука через Свердлова и Ленина облегчает им работу в этом направлении.

Я решил никому и ничего не говорить ни о моих сведениях, полученных через офицера, ни о сообщениях об агитации в Перми. Ни тем более о моих чувствах и мыслях, порожденных всем этим. Я думал, что если прав Борчанинов, что Сорокины и Лукояновы боятся меня, а в то же время конспирируют от меня, так пусть же думают, что они хранят тайну, и я ничего не знаю.

Для меня же было ясно, что начатая гражданская война Колчаками, Алексеевыми, Красновыми, Дутовыми, Каледиными — ищет знамени. Ни один из генералов знаменем быть не может, каждый из них считает себя равновеликим и между ними неизбежны грызня и взаимные интриги. Ни одно из генеральских имен не может стать программой всей контрреволюции, начиная от меньшевиков-активистов и правых с.-р.-ов и кончая монархистами. Не может быть этим знаменем и Николай II со своей распутинской семейкой. Он как глупый, тупой тиран не пользуется нигде никаким уважением. Выдвинуть Николая II — это значит внести даже в среду генералов и офицеров раскол, не говоря уже о крестьянских массах и кадетско-меньшевистско-с.-р.-кой интеллигенции. Его имя не мобилизует силы контрреволюции, а дезорганизует их. Он политически мертв.

Другое дело Михаил II. Он, изволите ли видеть, отказался от власти до Учредительного Собрания. Керенский от имени партии с.-р.-ов пожимал ему руку, называя его первым гражданином Российского государства, т.е. прочил в несменяемые президенты. Со стороны меньшевиков была бы самая лояльнейшая оппозиция. Даже анархисты типа Кропоткина и те поддерживали бы эту формулу перехода. Монархисты и кадеты были бы ползающими на брюхе» готовыми на все рабами.

Для иностранной буржуазии, обеспокоенной революционным движением в собственных странах, совсем не безразлично, кого поддержать в борьбе с советской властью. Поддержать Николая II, кредит которого даже в буржуазных кругах очень не высок, это значит придти в острое столкновение с революционными силами в собственных странах, поднимая в них еще большее

революционное нетерпение и недовольство. Поддержать того или иного генерала или группу их. Или поддержать Михаила II, который доведет страну до Учредительного Собрания, волю которого он признал для себя законом.

Поддерживая Михаила II, буржуазия всех стран могла бы делать вид, что она поддерживает нечто от революции, а не от контрреволюции, а это значит, что она могла спокойнее, без опасности со стороны пролетариата мобилизовать большие материальные и человеческие ресурсы, чтобы бросить их на помощь русской контрреволюции. А Каутские всех стран обосновали бы это теоретически.

Михаил II может стать знаменем, программой для всех контрреволюционных сил. Его имя сплотит все силы, мобилизует эти силы, подчиняя своему авторитету всех генералов, соперничающих между собой. Фирма Михаила II с его отказом от власти до Учредительного Собрания очень удобна как для внутренней, так и для внешней контрреволюции. Она может мобилизовать такие силы, которых никакая генеральская фирма и фирма Николая II мобилизовать не сможет. Она удесятерит силы контрреволюции.

А это означает, что вековая тяжба между угнетенным трудом и поработителями, получившая свое завершение в Октябрьской революции, вновь даст победу поработителям. Через реки и моря крови рабочих и крестьян, через горы трупов придет к торжеству эксплуататорская шайка поработителей. И помимо той драгоценной крови трудящихся масс, которая была пролита до Октября, помимо той крови, которая льется в защиту Октября, будет пролита еще и еще кровь десятков тысяч тружеников и на костях и крови пролетариата утвердится невиданно кровавая, невиданно жестокая, самая мрачная из мрачных реакций.

Земля, фабрики, заводы, транспорт — словом, все средства производства и распределения вновь перейдут в руки помещиков и буржуазии.

Буржуазия всего мира вкупе и влюбсе с буржуазией русской справит победную тризну. При этом русская буржуазия будет играть роль прикащика мировой буржуазии, как китайская, или индейская. А пролетариат и крестьянство, помимо эксплуатации своей буржуазией, понесет бремя эксплуатации мировой буржуазии, являясь колониальным рабом ее. И понадобятся десятки лет тяжелой, мучительной борьбы пролетариата и крестьянства, чтобы вновь поставить в порядок дня вопрос о пролетарской революции. Вновь двинуться в бой и вновь нести неисчислимые жертвы за новый Октябрь и за защиту его.

Нет, так нельзя оставить. Если даже при всей мобилизации

всех контрреволюционных сил как внутри, так и вне, фирмой Михаила II будет достигнуто только удлинение, затяжка гражданской войны, и мы устоим, то даже и в этом случае это будет стоить десятков тысяч рабоче-крестьянских жизней. Я имею случай снять голову контрреволюции. Лишить контрреволюцию знамени, программы и тем самым уберечь тысячи рабоче-крестьянских жизней.

Ведь что такое Михаил? Очень глупый субъект. Одеть его в блузу рабочего, запретить называться Михаилом Романовым, заставить работать, ну, хотя молотобойцем, и он будет выглядеть не очень развитым, недалеким рабочим. А вот поди же ты! Получилась такая расстановка борющихся сил, что этого недалекого человека выдвигают на роль вершителя судеб величайшей страны, и из него может получиться впоследствии некое божеское воплощение на земле. Значит, дело не в Михаиле, а в расстановке борющихся сил, сил борющихся классов. В Михаиле старый мир имеет знамя, программу, имеет орудие для более успешного отстаивания позиций разрушенных Октябрем классов. Он как будто бы остался в стороне и не несет ответственности за все преступления романовской шайки и получил некоторое миропомазание от революции в лице партии Керенского, которая когда-то считала цареубийство, истребление всего рода Романовых сильнейшим из средств в борьбе за идеалы партии. При этом Учредительное Собрание, которое в течение десятков лет служило знаменем мобилизации революционных сил в борьбе с самодержавием, как бы волею самой революции признанное стать вершителем судеб всей страны, признано и Михаилом, который своим отречением до Учредительного Собрания признал глас народа за глас божий, надеясь, что этот глас божий будет и его гласом, сделает его помазанником Божиим. Стало быть, дело не в физической личности Михаила, а в фокусе социальных классовых сил, которым является Михаил.

Но что значат эти предписания Ленина и Свердлова? Ну, допустим, что Ленин может поддаться чуждому влиянию. Допустим. Знаю я его мало. Несколько коротких разговоров и все. Но Михалыч. Его я знаю и знаю, как редко кто знает. И знаю, что повлиять на него, зайти к нему с заднего крылечка по кумовству и знакомству и ввинтить ему чуждые нашему пониманию задачи мысли — это очень трудно. Остается одно: в целях избежания излишнего обострения отношения с буржуазными странами, они делают эти либеральные жесты. Но тогда как быть? Ведь им там виднее, что нужно делать? Они в непосредственном соприкосновении с этим миром, перед которым они вынуждены либеральничать? Не беру ли я на себя слишком много

ответственности? Не ухудшу ли этим наше положение, положение Советской власти, возраст которой далек от возраста Мафусаила!?

Ну, тогда это надо сделать так, чтобы и голову контрреволюции снять и Советскую власть оставить в стороне. Если будет нужно в угоду контрреволюции, в угоду буржуазии Запада, в целях избежания столкновений найти виновника, ответственного за этот акт, то я предстану перед судом и возьму на себя всю ответственность и скажу, почему и как я это сделал. Это единственный путь.

12. От Михаила I к Михаилу последнему

А странно все-таки: Иван Сусанин. Крестьянин. Спасает Михаила Романова, Михаила I. А я, рабочий, изгой, смерд, закуп, тоже сын крестьянина, уничтожаю Михаила II и последнего.

Начало и конец, альфа и омега: Михаил. /.../

14. Большие размышления о маленьком деле

Время, которое у меня оставалось от работы в Исполкоме, в Комитете Партии, чтения рефератов, докладов, дискуссий и т.д. и т.п., этого времени было очень мало даже для сна, но разговор с рабочим Васильевым и разговор с Борчаниновым не давали мне покоя. И вместо того, чтобы спать, я ворочался на койке, а то просто не ложился, а присаживался к окну комнаты, что выходит во двор, и, не зажигая огня, думал. С одной стороны, последыш романовской шайки, 300 лет властвовавшей над трудовой Россией, залившей ее кровью, мучавшей ее муками нестерпимыми, и стоит только вспомнить дикую жестокость, с которой расправлялась эта шайка с крестьянскими восстаниями Степана Разина и Емельяна Пугачева, чтобы понять, что трон этой шайки на костях и из костей трудовых масс воздвигнут, а цементом служила сгустившаяся кровь многих поколений трудящихся масс. А сколько было местных, безымянных восстаний доведенных до отчаяния свирепой эксплуатацией тружеников! А в это время звонили в колокола, кричали муллы и звали молиться за «благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего» и горланили ему многия лета! А те же попы раздавленных, замученных, утопленных в собственной крови тружеников в тех же церквах проклинали. Им мало того, что эти благочестивейшие и коронованные убийцы и палачи

пытали Степана и Емельяна и всех с ними бывших, мало того, что они подвергли их таким пыткам и такой казни, сотовой доли мук перенесенных ими было бы вполне достаточно, чтобы исторгнуть из груди любого из Романовых любое из признаний, замучив их казнями и муками, которые были не меньше, чем крестные муки распятого на кресте мифического Иисуса, и под сенью этого креста воздвигалось лобное место для Степана и Емельяна, полюбивших измученный, страдающий народ больше жизни, этого для рясофорных и коронованных палачей мало, они еще лютуют и неистовствуют и просят бога своего к их земным мукам прибавить еще от себя мук небесных, мук ада. И вот этот последыш из коронованных убийц, ему, видите ли, в тюрьме никак нельзя сидеть: такая ведь это мука! Нет, ему надо жить на свободе и без унижительного и стеснительного надзора ЧК. Ведь он же член этой коронованной шайки! Кроме того, он не может жить в городской пыли и духоте. Он на дачу хочет. Ну, а как же можно ему отказать? Ведь он же глава романовской шайки!

Разрешили...

А рядом без шума и гама, тихонечко, без разговоров и без лишних слов расстреливают рабочих за то, что они меньшевики, за то, что они с.-р.-ы.

У них нет ходов в передние Свердлов и Ленина, и даже очевидно не успели пикнуть, чтобы я, тут на месте находящийся, услышал этот жалобный стон убиваемых пролетариев.

Конспирируют от меня, когда расстреливают рабочих. Конспирируют и тогда, когда создают привольную жизнь коронованному убийце...

Что делать? С кем поговорить? На что решиться?

Явное и очевидное преступление против революции неустанно и настойчиво куется чьими-то таинственными руками.

Этот вихляющийся, жидконогий, весь изломавшийся от упоения своей властью председатель Губчека Лукоянов Федор, интеллигентик; явное дело, что бьет на то, чтобы казаться страшным и жестоким, хочет грозой быть и головотяпит. Он именно тот, о которых Ленин позже сказал, что к нам, победившим, примазывается всякая сволочь.

Недавний молодой меньшевик и без году неделю большевик.

Но что же делать? Ведь даже поговорить не с кем.

Борчанинов? Нет. Приказ свыше для него — все, это материал неподходящий. Туркин? Выпивает. Не годится. Он хорош трезвый. Молчать где нужно умеет, но пойдет ли он против приказов, если будет нужно? А ведь если есть хотя бы самое малое сомнение, то лучше отбросить. Надо думать одному и делать одному.

Но как делать? Если пойду в «Королевские номера» и просто пристрелю Михаила, то?..

Кто поверит, что я, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, действовал самостоятельно, без предварительного обсуждения с верхами? Не поверят. Будут шуметь, кричать, и вместо того, чтобы убрать эту падаль с дороги революции, может получиться, что труп Михаила будет превращен в баррикаду мировой буржуазии. Баррикаду контрреволюции. А после моего выстрела будут продолжать расстреливать рабочих. В этом вопросе — что делать? Как выпрямить линию?

Если нельзя ничего сделать с тем безвозвратным, то надо, непременно надо что-то сделать, чтобы этого не было в будущем...

А этот офицер спохватился, черт, и замолк. Насторожился. Почувствовал, что он мне выболтал кое-что. Но я ведь чувствую, что он молчит, потому что есть, что говорить.

Где и когда он замолчал? В каком пункте? Совсем не тогда, когда рассказывал о своих убеждениях, а когда этот рассказ привел к пункту о Михаиле. Принципиально он выразил к нему свое отношение, считая его единственным, кто спасет Россию. Он — царь. Но после того, как он сказал, что знает Знамеровского и виделся с ним... Да, да, именно после этого он замолчал. Значит, он скрывает тайну свидания. Скрывает и участников.

Что же это за тайна? Несомненно о Михаиле. Есть две возможности: 1-я — затевается восстание, которое возглавится Михаилом, и 2-е — побег Михаила.

Восстание? Правда, агитация ведется. Ведется настойчиво. Вспоминается. Приходят ко мне женщины и мужчины о разговорах в очередях, в вагонах, на улицах, и все сообщения бьют в одну точку: Михаил. Он облагодетельствовал Россию, дал народу свободу, а с ним вот как поступили. Несправедливо. Вот такого царя бы нам! То был бы порядок, спокойствие и свобода!

Но восстания не могут поднять: опоры нет. Но, впрочем, кто знает? Ведь не всегда восстания делаются с расчетом на всю стопроцентную победу. Может быть, восстание имеет целью поднять суматоху, воспользовавшись которой Михаила спровадят к Колчаку?^[51]

Значит, все-таки я прихожу к тому, что хотят украсть Михаила?

А что если нет агитации (как организованного воздействия на умы, исходящего из одной точки), а есть просто базарная болтовня? И что если этот офицер просто взболтнул, желая похвастаться своим знакомством знатным? Ведь бывает же такое?

Почему бы не быть и тут? Нет, нет. Этого быть не может. Молодой он, это правда. Но он серьезный и играть в знатность в таком деле не будет. Ведь он рискует не только собой, а рискует всем своим делом. Нет. Он неосторожно взболтнул, а потому замолчал, спохватился. Это ясно.

Агитация? Но ведь у меня нет никакого организованного разведывательного аппарата. А все эти рабочие и работницы приходят добровольно и рассказывают. И при этом все говорят о разных местах, и все рассказывают одно и то же. Это не случайно.

Но странно, что ЧК не знает ни об агитации, ни о заговорщической офицерской группе. Говорить ли им об этом? Какой толк? /.../

16. Убивать ли?

Но как же быть и что делать? Работал, работал и дошел до точки: когда надо делать одно небольшое дело, то и посоветоваться, обменяться мыслями не с кем. На что решиться? Не махнуть ли рукой на все и делать все так, как того желают Ленин и Свердлов? Вот, тянет меня Свердлов в центр работать и уйти. Преуспеть в делах карьеры нетрудно при том окружении, которое имеется у них там: мало, совсем мало верных и умных людей, все какая-то политическая шпана, и откуда она понаперла? Но неужели из-за удобной, приятной жизни для себя я ушел в революцию? Зачем же было ходить с опасностью для жизни на экспроприацию оружия? Зачем участвовать в вооруженном восстании? Зачем сидеть с 1906 по 1917 год в тюрьмах, в каторге? бегать? и вновь садиться? и вновь бегать? Зачем переносить пытки, побои? Неужели все это для карьеры? Нет, это не для меня. Это ерунда и чепуха, и можно подумать, что кто-то мне внушает эти мысли, настолько они не мои, чужие. Махать рукой, когда надо действовать? Это никуда не годится. Это называется бежать с поля битвы прежде какой бы то ни было драки.

Поднять шум против ЧК из-за расстрела рабочих? Ну, уберут Лукоянова, допустим даже, что из партии вылетит, ну, а дальше что? Шумом воспользуется контрреволюция и наговорит такого, что вообразить трудно. Нет, кроме вреда от этого шума ничего не получится. Пусть вихляется Лукоянов, пусть хочет казаться страшным, но пусть он все это делает по известному направлению: надо дать ему это направление, толкнуть его в нужную сторону, и он покатится, да и довольнешенек будет: вот, мол, как мы, знай наших! Не пойти ли мне работать, хотя бы

ненадолго, в ЧК? Ведь вот и с офицером, и с агитацией, и с Михаилом, все будет лучше видно. Пойду и проверю все свои сведения, впечатления, и первый вопрос должен поставить о рабочих. Надо круто повернуть линию: весь огонь мести и жажду борьбы надо круто направить на буржуазию, помещиков, всех слуг старого режима — чем правее направление, тем круче расправа, чем левее и чем больше соприкасается это с рабочими и крестьянскими массами, тем мягче отношение: с рабочими и крестьянами — минимум принуждения и максимум убеждений.

[52]

А с Михаилом? Ведь мне нельзя будет тогда его убрать. Ведь я буду в ЧК и мой выстрел будет выстрелом местной власти, а Михаил состоит в непосредственном распоряжении центра, значит, мой выстрел будет истолкован, как выстрел советской власти. И это тем более будет вероятно, что я одновременно и член ВЦИКа. Как ни говори, а член Центрального Правительства (до 1923 года между съездами советов высшим центральным органом власти был Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, как с 1923 года — Союзный Центральный Исполнительный Комитет. ВЦИК насчитывал всего 200 членов, со включением представителей всех автономных республик, и в это время ВЦИК был не сессионным, а постоянно действующим органом, так что формально я принимал участие в работах ВЦИКа).

Выходит, что мне мешает ВЦИКовский значок? Этого еще не доставало! Надо и это как-то обойти. А как? В этом и гвоздь — как?

Но если мне удастся как-то обойти мой ВЦИКовский значок, то значит я сумею обойти и мое пребывание в ЧК. Это еще легче.

Совсем было бы легко, если бы я не был членом ВЦИКа: пошел бы и пристрелил. А тут вот ломай голову, ходи около этой падали, как кот около горячей каши.

Собственно говоря, линия «стреляй направо» это есть выстрел в Михаила. Ведь нельзя же заниматься ловлей мелкой шпанки, а столпы реакции и контрреволюции обходить, боязливо и почтительно поглядывая на них.

Если моя линия: чем правее направление, тем круче расправа, — верна, то, продолжая эту линию до конца, надо начинать с Михаила как центра контрреволюционных сил. Что может быть правее монарха? Все остальное — это служебное и подчиненное. Что значат все эти мелкие истязатели, палачи, шпики, провокаторы, жандармы, полицейские? Все это мелкие или крупные слуги одной шайки, а главой этой шайки является, хочет он того или нет — Михаил.

Мы, не разговаривая, убиваем малых и больших провокаторов, но почему мы почтительно сторонимся перед главой этих провокаторов? /.../ Что за половинчатая и гнилая политика? «Руби столбы, а заборы сами повалятся», — говорил Емельян Пугачев. И он был прав. Это верная политика. Бей по головам контрреволюции, а руки и ноги сами перестанут действовать.

Совсем немного доблести, смелости и предприимчивости надо, чтобы схватить мелкого провокатора, шпика, жандарма и пристрелить его. Что толку? А пристрели столько, сколько мы пристрелили провокаторов, из членов дома Романовых, толк будет, и большой: уничтожишь иконы, которым молятся и служат эти провокаторы и жандармы. Это не значит, что провокаторов, жандармов и шпииков надо щадить, их надо уничтожать, надо проветрить комнату от 300-летней нечисти, надо перебить всех клопов, вшей, блох и прочих паразитов, но надо бить не щадя ни одного из этих паразитов, и чем жирнее он, чем знатнее, тем скорее кончать с ним.

Я уверен, что и там в ЦК присоединятся к этой линии. И согласятся с моей точкой зрения. Но почему они делают обратное?

Почему бы не издать постановления или секретного циркуляра, отменяющего смертную казнь для рабочих и крестьян всех политических направлений? Почему бы не оградить от головотяпства Лукояновых пролетариев и крестьян? Ну, если в настоящий момент, момент обостренной гражданской войны, нельзя отменить смертную казнь для рабочих и крестьян, то почему хотя бы не оградить их от головотяпских убийств Лукояновыми? Почему бы не издать постановления о воспрещении смертной казни для рабочих и крестьян вне главного суда: Революционного Трибунала? А вот возьми ты! Нашли время для ограждения жизни главы шайки убийц и провокаторов, Михаила. А не удосужились издать маленького постановления, воспрещающего казнить тружеников.

Это очень странно. Туда ли мы идем?

Но, может быть, просто за множеством дел случайно накренились не на ту сторону? Яснее ясного, что никакой любви к Михаилу ни Свердлов, ни Ленин не питают. Но они могут не знать, что делается в ЧК, как я не знал о расстреле рабочих. Но в том-то и дело, что они не почувствовали опасность для пролетарской революции, проистекающую из такого отношения к Михаилу, не заинтересовались вопросом жизни и смерти рабочих.
/.../

Пусть я понимаю задачи рабочей революции не так, как

Ленин и Свердлов, но я должен руководствоваться в своих действиях своим пониманием. А я считаю, что пролетарская революция совершилась и совершается совсем не для того, чтобы расстреливать рабочих и крестьян за их разномыслие с партией, стоящей у власти, за их разномыслие со мной, членом этой партии. И против этого я должен и буду бороться до конца.

17. А что если бежать?

/.../ Надо решать, а я толкусь все на одном и том же месте и без надежды пролить нужный свет. Не сказывается ли на мне мое длительное одиночное заключение с неизбежным самоанализом и, может быть, ненужными длинными размышлениями? Или убить человека — это не так-то легко? И хочется иметь все основания, абсолютную уверенность в своей правоте? А может быть, и то и другое? Подумать только: я — каторжник, присланный в Орел как неисправимый бунтовщик, усердно исправляемый, а теперь вот решаю: жить или не жить Михаилу П?..

Любопытно, что Михаила называет его окружение, когда они одни, «его императорским величеством». Вот пакость! Если ведется агитация, изображающая его, как спасителя рода человеческого, как милостивца, давшего народу свободу, то как он сам думает на этот счет? Ведь если это исходит от него самого, то он думает о себе, как о благодетеле народном. Неужели он такой глупый? Как бы это узнать? Скажет ли он это, если бы я его спросил? Нет, если бы он даже вел эту линию, то настолько-то он умен, чтобы понять не опасность, нет, он уверен, что он огражден этими телеграфными приказами больше, чем своей охраной, а бояться глупости. Можно играть роль кого угодно ради политики, но нельзя же эти мифы выдавать за правду и говорить человеку, который понимает природу явлений. А все-таки я пойду в ЧК и вызову его к себе, как заведующий отделом контрреволюции, и задам ему этот вопрос. Любопытно, что он ответит?

Вот этот еще лорд английский, Джонсон. Кто это? Что за птица? Ведь из-за него, пожалуй, больше будет шума, чем из-за Михаила. Если он подданный английский и действительно лорд, то, придравшись к этому, буржуазия будет мстить за Михаила и мстить не мне, а Советской власти. И кто знает, чем это угрожает? Не прольются ли реки крови? Не прибавится ли страданий и муки, не достигну ли я прямо противоположных результатов? Хорошо, если все выйдет гладко, а если нет? Да ведь и то сказать, что этот лорд совсем тут ненужная жертва, он ведь ни в какой

мере не причастен к преступлению романовской шайки. Нельзя ли избежать лишнего шума, треска, гама, а главное — ненужных жертв?

Единственно, что можно сделать, это убить Михаила открыто. Придти и застрелить. Другие будут свободны и невредимы.

Впрочем, что мне очень беспокоиться о лорде? Убивают же крестьяне наших доморожденных лордов — помещиков, раньше убивали и теперь убивают. Так что одним лордом будет меньше, воздух чище. Но дело-то не в том, что Моисей написал на скрижалях «не убий», чтобы потом убивать целые народы и колена. Ведь революция без убийств не бывает. Хорошо написать «не убий», а практически? Лучше было бы не убивать, но вот эта война, разве миллионы жертв ее не ложатся тяжелой ответственностью на все господствующие классы всего мира, в том числе на эту разбойничью коронованную шайку? И разве истребление этой шайки не является началом конца всех и всяческих войн? Чего этот лорд хочет? Хочет охранить Михаила? Ну, туда ему и дорога. И если надо будет — то и с ним покончим. И опять: ну, покончу, а потом? Чтобы за эту мерзость проливали реки рабочей крови? Разве эта пакость стоит хоть капли рабочей крови? Вот то-то и есть. Значит, лучше, если лорда оставить в целости и в сохранности. Пусть себе лордствует. Придет время, английские рабочие сами с ним расправятся по всем правилам пролетарского искусства. А пока пусть живет, живут же холерные бациллы. Значит, еще препятствие? — Лорд?

Не выдумываю ли я все эти трудности? Может быть, никто и пальцем не пошевелит, чтобы защитить Михаила и лорда? — Ну, нет. Этого-то нет. Шевельнут, да еще как шевельнут, пожалуй, еще так шевельнут, что затрясется земля под ногами советской власти. Ведь им нужно только благовидный предлог, чтобы начать с нами войну. Ведь все они, лорды всего мира, они — сила, и они нас ненавидят жгучей ненавистью. Свердлов и Ленин, давая охранительные приказы, знали, что есть заповедь «не убий», знали, что есть и такие вещи, как заводы, фабрики всех стран, только и вырабатывают орудия истребления, орудия убийства, знали, что истребить лордов всех стран — это самая дешевая цена, которой можно заплатить за покупку вечного мира, за уничтожение всех войн как международных, так и гражданских. Но вот, зная это, они все-таки дают охранительные грамоты Михаилу. Понимают они (Л[енин] и С[вердлов]) опасность международных осложнений, дорожат рабочей кровью, но они не видят другой опасности: мобилизации всех контрреволюционных сил всех стран, которую может произвести фирма Михаила II. Этого они не видят. Это странно. Очень

странно. /.../

Но как бы ни решать эти вопросы, опасность осложнений есть. Приму это за установленный факт. Но есть и опасность от того, чтобы оставить в живых эту пакость.

Итак: убивать опасно, а не убивать еще опаснее. Что же делать, как быть?

А что если бежать? Да, взять да и убежать?

18. Кто исполнители?

И неистово, неудержимо заработала мысль в этом направлении. Правда. А почему нет? Они хотят ему устроить побег, они его хотят выкрасть и увести? Так почему же мне нельзя? Это невозможно для одного. Ну так ведь это и не обязательно. Нужно только все это продумать до конца и во всех деталях и остановиться на окончательном, твердом решении и простом плане. Говорить ни с кем до решающей минуты не буду. А в решающую минуту позову товарищей и расскажу им, что надо делать, как надо делать и почему надо делать.

А все-таки полезно думать. Какая счастливая, простая и ясная мысль. Убежал и... Что поделаешь? Убежал и только. Всякие побегии бывают: бегают из каторги, из крепости, из тюрем, а от нас убежать, кто разрешает жить на свободе без всякого надзора, да еще на дачу выехать разрешают, при таких условиях только дурак да ленивый не убежит. И если он не убежал до сих пор, то только потому, что он ленивый дурак.

Ленин и Свердлов могут козырнуть: «вот приказы, вот телеграфные распоряжения, а вот и последствия нашего гуманного отношения». Вот и будь после этого гуманным. Никак нельзя! Они процитируют кого-нибудь и скажут: «твердость, твердость и еще раз твердость». И волки будут сыты и овцы целы. Это как раз то, что надо. Это не расстрел, не убийство, но он исчез, его нет. Он будет убит, это ясно, но ясно это мне и моим товарищам, кому я доверю свою тайну, но для всех он бежал. И хорошо.

А как отнесутся к этому Свердлов и Ленин? А как бы они ни отнеслись, для меня безразлично. Я знаю свой долг, я его выполняю, а потом на мне пусть хоть выпялятся. Значит решено? Точка. Конец сомнений и колебаний.

А теперь надо думать о плане. Нужно ли мне идти теперь работать в ЧК? Нужно. У меня задача двойная: «убежать» Михаила и выправить линию — оградить рабочих и крестьян от лукояновских кокаиностических штук.

Если пойду, то это делу при таком решении помешать не может. Этому помешать не может и ВЦИКовский значок. Все хорошо. Пойду в ЧК, возьму отдел контрреволюции, проведу через комиссию свою линию, все уездные ЧК информируем, инструктируем и, если будут лететь головы, то чьи угодно, но только не головы рабочих и крестьян.

Завтра иду в губком и говорю о своем решении. Впрочем, не завтра, а когда я окончательно буду иметь план. Но откладывать этого в долгий ящик не буду, а то как бы в самом деле не убежал.

Вот будет номер. При этой мысли я сжал кулак и говорю вслух: «Ну, шутишь».

Какой же план? Ввиду приближения фронта, необходимо эвакуировать в глубь России. Это будет написано в мандате того товарища, который войдет к нему и прикажет собираться. От кого мандат? От ЧК. Кто подпишет? Поддельный. Печать? Бланк? Приготовлю заранее. Кто напечатает мандат? Я сам нахлопаю.

Сколько нужно человек? Чем меньше, тем лучше. А сколько? Один пойдет с мандатом в его комнату. Другой будет наблюдать с лестницы и передавать вниз третьему, а один в запасе: четыре, и я пятый. Достаточно.

Сколько лошадей? Две. На каждой по три человека. Лошади без кучеров. Кучера наши, из этих четверых.

Куда его везти? В Мотовилиху. А где ему могилу сделать? За Малой Язовой. Да это неважно. Да только надо точно знать и определить, чтобы бестолковщины и суетни не было.

Приготовить ли заранее яму или нет? Не нужно. Будут разговоры, догадки. Это не так сложно.

Кого наметить на это дело? Нужно твердых, настрадавшихся от самодержавия, видевших все ужасы, все бичи и скорпионы, готовых зубами глотку перегрызть. Нужно людей, умеющих молчать и, в-третьих, верящих мне больше, чем себе, и готовых на все, если я скажу, что это надо в интересах революции. Таких людей в Мотовилихе немало. Но надо, чтобы они были простыми рабочими, свободными от всяких ответственных постов. Это на всякий случай, чтобы нельзя было свалить на советскую власть, если даже все это всплывет наружу, что прямо невероятно. Итак, берем двух лошадей без кучеров. К 12 часам ночи подъезжаем к Королевским нумерам и действуем. Мандат надо приготовить. Хотя? Ведь я буду работать в ЧК и все сделаю в один вечер.

Как будто план уже есть?

В первую очередь Николай Жужгов.^[53] Рабочий. Был в каторге. Видел все прелести царского режима. 7 лет работал в каторге. Все видел. Все испытал. И злоба у него не кипит, нет, а злоба какая-то холодная, расчетливая, не волнующаяся, а

постоянная, пропитывающая все его существо. Он будет казнить, не волнуясь, как будто браунинг пристреливает.

Это коренной мотовилихинец, рабочий, токарь, в движении с 1905 г. В 1918 г. ему было лет 33–35. Ниже среднего роста, пропорционально росту широк, немного сутуловат. Лицо с тем характерным оттенком выдающихся скул, которое имеется у носивших Долго кандалы. Щеки немного ввалившиеся, нос короткий и не широкий, глаза глубоко в ямах под бровями, глаза серые с голубизной. Брови негустые, русые. Глаза спрятанные и потому кажутся маленькими.

В 1905 году участвовал как активный стачечник и в декабре принимал участие в вооруженном восстании Мотовилихи. После разгрома рабочего движения стал принимать участие вместе с Александром Лбовым, тоже мотовилихинским рабочим, во всех его набегах на полицию, жандармов. Принимал участие в форменных сражениях с войсками, не раз высылавшимися на поимку Лбова. Лбов был социал-демократ, большевик, но по темпераменту террорист, и потому как только подавили восстание, он ушел в лес и все время жил в лесу. Наша организация, как наиболее сохранившаяся и сильная, ему помогала. Но сидеть в лесу, который он знал отлично и мог сотни верст проходить без всяких дорог и тропинок, никогда не сбиваясь с раз взятого направления, сидеть ничего не делая, это не в его характере. Он был замечательный стрелок, стрелял без промаха. Был он унтер-офицером. Высокого роста, с белым, энергичным, чистым, красивым лицом, с черными сверлящими глазами, черной, как крыло ворона, бородой и усами, черными густыми бровями, сходящимися на переносице, с густой копной черных волос над высоким лбом. В 1905 году ему было не больше 26–27 лет. Резкие движения, энергичные жесты, громовой голос. Вся фигура его изображала порыв и силу. Это был крепкий орех. Уклон террористический и экспроприаторский его неминуемо привели к тесному содружеству с с.-р.-ами, и это, как известно, стоило ему жизни. Его выдал Азеф. Но долгое время основная группа, боевое ядро состояло из наших боевиков, и они ему создали громкое имя. Одним из этих боевиков и был Жужгов.

Тов. Жужгов был необыкновенно молчалив и всегда смотрел своими глазами внутрь. Был ли он в Комитете Партии, в Исполкоме, в Совете, — редко кто слышал его голос. Он мало начитан, но много думал и больше перечувствовал. Он всегда был сосредоточен и мало когда улыбался и почти никогда не смеялся. Он был куском динамита, готовым взорваться, но до взрыва не проявить никакой жизни. Если ему сказать, что надо надеть динамитные пояса и самому взорваться, взорвав вместе с собой

кучку офицеров из штаба Колчака, он, не задумываясь, сделает это. Это был мститель народный, заряженный на всю жизнь ненавистью к эксплуататорам. Лучшего для моего дела не найти. К тому же он связан со мной дружкой 1905 и 1906 года.

Второго? Василий Иванченко. Тоже коренной мотовилихинец. Рабочий, токарь по металлу. Он в движении с 1904 года. Лет ему 32–33. Среднего роста, пропорционально сложен, с хорошим, мягким, добрым лицом. Он не то, что красивый, нет, а привлекательный. По всему его лицу разлита какая-то доброта и сердечность. Мягкий взгляд серых коричневатых глаз, сидящих неглубоко, не как у Жужгова, и всегда открытых, излучающих доброту. Овальное лицо и хороший лоб, изрезанный, правда, морщинами, но и у него кандалные признаки на лице. Он всегда ровный, спокойный, ласковый, но за этой ласковостью его тенорового разговора есть большая решимость и бесстрашие. В 1906 г. он был арестован за убийство двух казаков и приговорен к 15 годам каторжных работ. Из каторги он явился в Мотовилиху в 1917 г.

Он ровным остается и тогда, когда трудно остаться ровным. Расскажу про один случай. Власть взяли Советы. Местные социалисты-революционеры нервничали, но предпринять чего-либо не могли, боялись. И вот на заседании Исполкома социалист-революционер Волович истерически кричит: «Власть не у Советов, власть не у Советов, мы будем с оружием в руках бороться против перехода власти к Советам». Присутствующий тов. Иванченко ровно и тихо с места замечает: «Тов. Волович, не лучше ли для вас не разговаривать насчет оружия». Волович, обданный этим ласковым тенорком, сразу приходит в себя и, не закончив речь, садится. Он понял, что пугать оружием можно кого угодно и где угодно, но не цвет мотовилихинских рабочих-большевиков, сидящих в Исполкоме, а поняв, умолк.

Вскоре этот Волович сделался левым с.-р.-ом, а потом перекочевал к нам в партию. А толчок мозгам Воловича дал этот ласковый тенорок тов. Иванченко.

С этим тов. Иванченко в 1906 году мы ходили в лес на свидание к Лбову. Я от имени Комитета должен был передать ему некоторую сумму денег, паспорт и поговорить насчет видов на будущее, а тов. Иванченко как мой проводник. Условлено было, что кроме некоторых лиц Лбов ни к кому, ни на какие сигналы не выходит, между этими лицами был и тов. Иванченко.

Встреча со Лбовым была очень интересной, я о ней когда-нибудь расскажу. Мы были знакомы и до этой встречи. Он работал в 3-м снарядном цехе, а я во втором. Цехи смежные, и мы друг Друга знали. Затем он был руководителем экспроприации

оружия. в которой принимал участие и я. И он мне, шестнадцатилетнему, поручил обезоружить сторожевую охрану, взяв себе помощников а сам с большей частью участников пошел в контору. Поручение я выполнил без единого выстрела. Но зная Лбова хорошо, я при встрече с ним в лесу его не узнал. Перемены в нем были удивительные. Он меня узнал.

Тов. Иванченко был из тех мотовилихинских коренников, которыми держалась наша организация. Его рабочие знали. Ему они верили. С ним они могли говорить по всем вопросам, по самым щекотливым и деликатным. Они в нем чувствовали своего друга и товарища, целиком преданного им. Он теоретически слабый и еще слабее как оратор. Но он мог объединять вокруг себя рабочих, как редко кто может. В это время он работал на заводе.^[54]

Это уже два. Два каторжника. Хорошее начало.

А кто еще двое? Андрей Марков. Подходит. Среднего роста, коренастый, светловолосый, с большими светлыми усами, перегораживающими ему лицо. Рубаха-парень. Любит свое ремесло. Работает мастером в одном из оружейных цехов завода. В 1906 году был в тюрьме. Сидел некоторое время со мной, а потом получил административную ссылку. Член партии с 1905 года. Участник всех боев, которые пришлось вести передовикам Мотовилихи. Знает на практике все прелести царского режима и горит огнем злобы и мести. Нет такого предприятия, которое он откажется выполнить, лишь бы он верил, что это надо для торжества рабочего дела. Немного ленивый читать и мыслить самостоятельно, он поневоле больше верил, чем знал, и верил в людей, которых он знал, на ум которых он полагался и преданность революции которых он проверил. Для него Ленин и Свердлов были абстрактные величины, хотя Свердлова он знал, как знали Жужгов и Иванченко, по нелегальной работе в 1906 г. и по тюрьме. Но ему приказы Ленина и Свердлова представлялись, как некоторая «вещь в себе», а вот мое распоряжение это «вещь для него» — понятная и конкретно осязаемая, и он пойдет без колебаний, сделает все, что надо.

А это все, что мне нужно.

Четвертый? Колпашиков.^[55] Рабочий. Это не коренной мотовилихинец. Повыше среднего роста, шатен, с коричневым цветом лица, лицо крупное, голос немного не соответствует его здоровой и сильной фигуре в обратном отношении, чем голос у Свердлова: из маленькой тщедушной фигурки Свердлова гремел большущий, сильный бас, тогда как из мощной здоровенной фигуры Колпашикова жалобно, почти пискливо, выходил слабый тенорок. Но пропорция несоответствия все-таки была меньше, чем

у Свердлова. Сидел в тюрьме. В 1917 году был всегда в Комитете как красногвардеец и забывал всего себя, отдаваясь самой кропотливой, тяжелой и черной работе. Этим он похож был на Александра Калганова, но меньшего размера: по силе ума и характера. Работал на заводе, а все остальное время был всегда на боевом посту, выполняя самые опасные и сложные поручения. Что он пойдет со мной куда угодно, я не сомневаюсь. А большего для меня и не требуется.

Итак, я имею уже и необходимый кадр?

Может быть, в интересах дела не говорить им о приказах Ленина и Свердлова? — Не обмануть, нет, а смолчать о них? Вот ведь чорт, авторитарный тип мышления, по вековой привычке люди не вдумываются в то, что пишут и говорят, а кто пишет и говорит. Говорит поп, значит правда, так тому и быть, а говорит умнее его, но не поп, а простой смертный — никакого внимания. Попов сменили, иконы поломали, а вместо них другие создаем, другие вешаем. И вновь вековую лень мысли культивируем. Зачем это? Кому это на руку? Кому угодно, но только не пролетариату, не угнетенным и обездоленным. Сам тип мышления, с этой верой в авторитеты, мог зародиться только в момент разделения людей на повелителей и исполнителей, когда голова одного могла заставить выполнять свои предначертания руки многих и многих. Мы идем к обществу свободы дела и мысли, нам меньше всего к лицу прививать веру в авторитеты, а больше всего мы обязаны вызывать дерзания мысли. Но может быть из царства рабства в царство свободы путь лежит чрез постепенное уменьшение авторитарности мышления и вера в эти наши авторитеты есть переходная ступень? — Может быть, а все-таки погано. — И вот в простом, практическом маленьком деле эти авторитеты могут стать на дороге и помешать сделать полезное и нужное дело. А в переводе на язык политической борьбы это будет стоять тысячи и тысячи рабочих жизней.

Нет, на моей стороне такая большая правда, что она сломает все авторитеты. Моя правда и осязательно понятна для каждого пролетария. Они меня поймут и потому не нужно ни лжи, ни умалчивания. Скажу все как есть и... увидим.

Ведь в конце концов, я тоже авторитетом хочу взять, а не только правдой. На стороне Ленина и Свердлова только авторитет, а на моей — авторитет правды и мой авторитет. Ну, и пусть!.. /.../

Глава IV.

ИСПОЛНЕНИЕ

44. Рефлекс

Практика поставила передо мной вопрос о расстрелах рабочих и о гарантиях безопасности, создаваемых Михаилу Романову. Мое уважение к Ленину и Свердлову и отвращение к репрессиям против инакомыслящих пролетариев, да еще к таким, как расстрелы, заставили думать. Может быть, здесь сказалось мое долголетнее пребывание в одиночном заключении. Может быть. Я ведь всего год как на свободе. Это одиночка заставила меня копаться в моих мыслях, заглядывать во все закоулки моего «я», может быть больше, чем следует. Но я не раскаиваюсь. Я чувствую себя теперь сильнее и бодрее. Здесь я излагаю не все мои думы. Их было значительно больше, и они были как будто глаже, стройнее и сильнее. Но и этого достаточно, чтобы понять, почему я с такой решительностью вопреки прямым предписаниям Ленина и Свердлова и вопреки желанию всех местных товарищей пошел на убийство Михаила Романова.

И когда я после трех бессонных ночей, которые ушли у меня на эти размышления, на эту самопроверку, на это психологическое вооружение, встал с постели, поднятый шумом пришедших в Исполком товарищей, то я почувствовал себя, как будто я после очень долгого перерыва сходил в баню, вымылся, сменил белье, почувствовал себя очень легко. Никакого беспокойства, никакой усталости, никакой тревоги. Я сказал себе: «Ну, а теперь за дело», — и чувствовал, что я уже убил Михаила, а осталась какая-то техническая операция, которую надо сделать. Чувствовал, что не только можно убить, но и надо убить, должно убить. /.../

45. Иду на работу в ЧК

А теперь практически. Пойду в ЧК. Круто поверну линию. Это первое.

Второе. Узнаю, знают ли они что-нибудь об организации офицеров.

Третье. Вызову Михаила и поговорю — официально сообщу,

что он находится под надзором ЧК.

Решено. Точка.

Надо собрать заседание Совета и устроить перевыборы председателя. Потом пойду в Губком и скажу о своем намерении работать в ЧК.

Делать надо быстро, а то могут действительно увезти. Надо послать кого-нибудь узнать, есть ли какая-нибудь охрана в гостинице или нет.

С этими мыслями я захожу в свой кабинет и вижу т.Туркина. Здравуюсь и говорю:

— Тов. Туркин, знаешь мои намерения?

— Это ты о чем? Почему я знаю?

— А вот подумай и скажи.

— Ничего не могу придумать.

— Хочу пойти работать в ЧК.

— Ты что? Спятил малость?

— Нет пока, потом может быть спячу.

— А знаешь, Гавриил Ильич, ты ведь здорово изменился за последнюю неделю: похудел, замкнулся, мало говоришь и очень рассеянный.

— Заметно разве?

— Да еще как. Мы уже говорили между собой о тебе и решили, что ты устал. Прямо из каторги, да в работу, и в дьявольских условиях. Отдохнуть бы тебе.

— Ну нет, Миша, это не то. Совсем, совсем не то.

— А что же? Скажи.

— Потом узнаешь. А пока вот что — надо назначить собрание Совета.

— Для чего?

— Мой отчет заслушать и нового председателя избрать.

— Ты думаешь, что тебя Совет отпустит?

— Должен отпустить.

— Ну, нет, ты шутишь. Я первый буду против.

— Ты, Миша, не ерунди. Ты меня знаешь лучше всех, и если я покидаю Мотовилиху, то это так надо. Ты должен меня поддержать. И не расспрашивай. Можешь мне поверить, что это надо?

— Конечно, могу.

— Ну, так и действуй.

— А почему ты не хочешь мне сказать, почему уходишь?

— Нельзя, Миша. Потом узнаешь, а сейчас положишься на меня и действуй: ты помоги мне, поговори с товарищами в этом духе, подготовь почву.

— Трудно это, Гавриил Ильич, ты пойми, что без тебя

Мотовилиха потеряет весь свой авторитет. Сиротой останется. Это ведь понимают все, ну и попробуй уломать.

— Тогда вот что: я пойду в Губком, возьму командировку в ЧК, а ты скажешь товарищам, что я временно ухожу на работу в ЧК, так как там много безобразий. Они должны согласиться.

— Да, это пожалуй.

— Ну, то-то же. Вот кого в председатели выдвинуть? Как ты думаешь?

— Я, прямо сказать, ничего сейчас не могу придумать. Ты меня пришиб.

— Эх, брат, расчувствовался.

— Привык я к тебе.

— А ты думаешь, я к тебе не привык? Ну, да это сантименты, Миша, а я вот подумал уже и о заместителе. Сбросов... /.../

46. Я в ЧК. Заседание. Прием отдела. Вызов Михаила

В течение трех дней мне удалось отделаться от председательствования в мотовилихинском Совете и вступить в члены ЧК Перми.^[56]

ЧК помещалось на Сибирской улице, на той же, что и Королевская гостиница, в помещении бывшей городской управы.

Вход в помещение был не свободным и только по пропускам. Красногвардейцы, что дежурили при входе, были мотовилихинцы, рабочие, и мне всегда можно было проходить: они меня знали и никогда пропуска не спрашивали.

В первый же день моего прибытия состоялось заседание ЧК:

Лукоянов, Малков, Ивонин и я. Председательствовал Лукоянов. Он предложил наметить порядок дня.

Я с места в карьер: предлагаю сделать доклад ЧК об ее работе, чтобы меня ввести в курс дела, и второй вопрос — о моей работе здесь.

Предложение было принято.

Лукоянов, повыше среднего роста, тонконогий, жидкий, сутулится, светлый шатен, с голосом надтреснутым, жидким тенором, лицом довольно красивым, но с явными признаками наркомана, жидкие, светлые волосы, бритое лицо, светло-серые глаза, подернутые мутной пленкой.

Встречал я его раньше нечасто и не замечал. Он знал меня лучше, чем я его. Но в тот вечер, когда я получил командировку, я почему-то зашел в бывшее здание дворянского собрания, и один товарищ, женщина, Масляникова, только что познакомившаяся со мной, показывая на Лукоянова, говорит:

— Вы знаете — это гроза города Перми и губернии.

— Да? Вот не знал. — И от всей души расхохотался.

— Почему вы смеетесь?

— Смешно.

Я вспомнил рассказ Борчанинова и его характеристику Лукоянова, и мне было понятно, что он таки держит постоянный курс на страшного. Экая ведь пакость, думаю. Ну, да черт с ним.

И вот, всматриваясь теперь в него, вижу, что он хочет на меня произвести впечатление, но кроме брезгливости он мне ничего не внушил.

Он стал делать доклад. Доклад был писанный, с обозначением цифр задержанных спекулянтов, конфискованных товаров, количества арестованных за контрреволюцию и количества расстрелянных.

Доклад кончен. Я прошу уточнить доклад: кто арестован и кто расстрелян? По социальному положению и по политическому направлению.

Подсчитали, и оказалось, что громадное большинство арестованных и расстрелянных — это рабочие и крестьяне.

Сейчас я цифр не помню, но помню, какое впечатление они на меня произвели: среди расстрелянных не было ни одного члена партии к.-д., не было ни одного монархиста, а все — крестьяне и рабочие были или меньшевики, или с.-р.-ы, или беспартийные. Это так меня поразило, что я при всем желании скрыть волнение не сумел его скрыть и в упор спрашиваю: «А за что расстреляны такие-то и такие-то рабочие Мотовилихи?» (Фамилий теперь не помню, но тогда я их назвал).

Ответ был бесподобен. Мудрее и придумать нельзя: «Они шептуны»-

— Только за это?

— Да.

— Ну, на что это похоже? Если и все остальные рабочие и крестьяне расстреляны за то, что они шептуны, то получается так, что при нашей власти рабочим не только говорить, но и шептать нельзя? Это никуда не годится.

Получилось так, что не доклад слушали, а допрос производили, и Лукоянов чувствовал себя, как на иголках. Возразить что-либо он прямо не мог. Он такого напора не ожидал.

Я, продолжая свою реплику, предлагаю:

1. Круто изменить линию ЧК и ни рабочих, ни крестьян не расстреливать, кроме как за попытку террора, и при этом в каждом случае вести самое тщательное расследование для установления действительной виновности.

2. Конкретно установить, кто подлежит немедленному

расстрелу: высшие чины полиции, жандармы, шпики, провокаторы, а из низших чинов — только отличившиеся своей жестокостью в борьбе с революционным движением.

3. Общая линия ЧК должна быть направлена в сторону борьбы с партиями буржуазии, помещиков, попов. И чем правее направление, тем круче расправа.

Принимаются все три пункта без какой бы то ни было попытки борьбы и возражения.

На этом обсуждение доклада и закончилось. Стали обсуждать вопрос о моей работе. И без прений мне дали отдел по борьбе с контрреволюцией.

Когда собрание закрыли, то я подумал: «Все идет, как по писаному, — и тут же направился в Мотовилиху.

На другой день приехал в ЧК и принял отдел Малкова.

Малков — столяр, среднего роста, плотный, крепкий, рыжий, лицо веснушчатое, трегубый, прямой нос, голубые глаза, недалекий, ленивый читать и еще более ленивый думать. Заражен уже бюрократизмом, карьеризмом, желанием властвовать.

При сдаче отдела я между прочим спросил, есть ли какая-нибудь гласная или негласная охрана Королевской гостиницы. Он ответил: нет, ни гласной, ни негласной.

— Почему?

— Михаил находится в распоряжении центра.

— А кто эти 12 гавриков, которые его охраняют? ^[57]

— Это дворянские сынки из какой-то военной школы.

— Вы не знаете точно, кто они?

— Нет.

— Это, должно быть, труднее сделать, чем расстрелять рабочих за то, что они шептуны? — полушутя говорю я, а потом серьезно добавляю: — Как это ты, тов. Малков, рабочий Мотовилихи, мог допустить такую вещь? Ну, Лукоянов, это еще куда ни шло, но как это ты мог допустить?

— Эти вопросы решались коллегией и ответственен Лукоянов. Если я в чем-либо и ошибся, то только в том, что не боролся против Лукоянова. Он с нами почти не считался и накладывал резолюцию, какую хотел.

— Плохо это. Еще хуже то, что арестовали их за моей спиной, не сообщив мне об этом.

— Это тоже Лукоянов. Он хотел сделать так, чтобы ты не узнал, боясь, что ты не разрешишь арестов.

— Я догадывался, что это так. Но этого больше не будет. Я ему обломаю рога.

— Да, он вчера уже это понял, что фактически ты здесь будешь хозяином. Когда ты ушел, мы остались после тебя и

говорили. Он сказал — хороший парень Мясников, но я не смогу с ним работать, очень крутой он. Он ведь не посмеет теперь ни одной резолюции наложить, не посоветовавшись с тобой, а это ему нож острый.

— Ну, так. Я слышал, что вы какую-то офицерскую организацию раскрыли?

— Нет, никакой.

— Чисто, значит, тихо?

— Да, как будто.

— Это хорошо.

После того, как я принял отдел, я послал за Михаилом. Через некоторое время входят ко мне в кабинет двое: Михаил и его секретарь Джонсон.

Михаил высокого роста, сухой, непропорционально тонок, длинное и чистое лицо, прямой и длинный нос, серые глаза, движения неуверенны, на лице растерянность. Явно не знает, как себя держать. Глядя на него все можно предположить, но только не наличие большого ума. Этого порока ни на лице, ни в глазах, ни в движениях не заметно. И увидев такую глупую фигуру, я спрашиваю:

— Скажите, гражданин Романов, вы, кажется, играете роль спасителя человечества?

Ответ, который последовал, вполне соответствовал моему впечатлению.

— Да, я вот дай наеду свободу, а он вот меня в ЧК приглашает, — сказал, двинув как-то нелепо рукой при этом.

Секретарь Джонсон, человек среднего роста, а рядом с Михаилом кажется низкого роста. В противоположность Михаилу, движется уверенно, сдержанно, расчетливо, лицо продолговатое, умное, энергичное, светящиеся серо-темные глаза приковывают к себе внимание и как будто мешают разглядывать детали лица.

Заметив на моем лице усмешку, он понял, что я хохочу от всей души над глупым Михаилом, и поспешил вмешаться в разговор, стараясь сгладить впечатление, произведенное гениальным ответом Михаила.

— Михаил Александрович хочет сказать, что центральная власть отдала распоряжение оставить его без надзора ЧК, вполне свободным и не рассматривать его как контрреволюционера.

— Думаю, что это сенатское разъяснение мне не нужно. Обо всех распоряжениях центра я осведомлен. И тем не менее, я вам приказываю приходить сюда каждый день на отметку, а теперь распишитесь в явке и будете свободны, — ответил я.

Они расписались и, поклонившись, со словами «до свидания» удалились.^[58]

Это было при мне первое и последнее посещение ЧК Михаилом.

Тут произошло что-то до необычайности странное...

47. Губком партии открывает во мне таланты, которых никто, в том числе и я, не замечал. Хотят меня сплавить

В тот самый день, в который я вызвал Михаила, Губком партии обсуждает вопрос о посылке работников в Областную Чрезвычайную Комиссию Урала, в Екатеринбург. И намечается два кандидата: как очень опытные чекисты — это Лукоянов и я.

Если Лукоянов долго работал в ЧК, с самого основания ее, то я работал меньше недели и никак не могу сойти за опытного чекиста.

Когда обсуждали вопрос о посылке меня, то кто-то, чуть ли не Михаил Лукоянов (брат чекиста) горячо говорил за меня и выдвинул то положение, что с появлением тов. Мясникова в ЧК линия ЧК круто изменилась и приобрела истинно пролетарский характер и т.д. и т.п., все в этом духе и роде.

Я сидел и думал: таланты во мне открыли. Ну, шутите, это вам не пройдет.

Я пытался отказаться и говорил, что если моя работа здесь не нужна, то я пойду в Мотовилиху.

Но все было напрасно. Губком был тверд. И через некоторое время в этот же день по прямому проводу сообщили Областному Комитету партии о постановлении Губкома и моем сопротивлении. Областной Комитет подтвердил постановление Губкома, и я должен был ехать.

Предо мной в самых ярких деталях воскресла моя беседа с т.Борчаниновым в Исполкоме Мотовилихи: они охраняют Михаила от меня. Теперь я в этом убедился. Когда я сидел в Мотовилихе и не изъявлял желания работать в ЧК, то они могли думать, что я не знаю о присутствии Михаила в Перми. А вот я пришел работать в ЧК и в первый же день вызываю Михаила... И они решили меня сплавить. Избавиться от меня и уберечь Михаила от всяких неприятностей. Вот почему сразу увидели во мне, никогда не работавшем в ЧК, опытного чекиста, вот почему открыли мои таланты по части классовой линии.

Неужели Михаил имеет возможность влиять на работу? Через кого? Или это простое усердие угодить Ленину и Свердлову?

Я сказал, что я поеду, но мне необходимо сдать дела председателя Совета в Мотовилихе и немного познакомить с работой тов. Обросова. Губком согласился.

Лукоянов живо свернулся и уехал в Екатеринбург. Председателем ЧК был назначен Малков, я же больше не появлялся в ЧК. Я узнал все, что нужно узнать. Ни о какой офицерской организации ЧК не знает: не тем были заняты — рабочих-шептунов вылавливали, не до офицеров. Михаил живет без всякой охраны: в любую минуту может удрать. Двенадцать апостолов, что охраняют Михаила, — это пажи, которые готовы исполнить любую прихоть Михаила.

Михаил по своей глупости взболтнул, что он дал народу свободу, а неблагодарный народ его в ЧК приглашает. Значит, агитация исходит от него. Он себя чувствует Михаилом II. Офицер тоже взболтнул. Все говорит за то, что надо как можно скорее кончать с Михаилом, пока его не выдернули из-под нашего носа.

Я в Мотовилихе был фактически еще председателем. Все обращались ко мне, и Обросов туго входил в работу. Но занят я был больше моими думами о Михаиле, чем работой и инструктированием Обросова.

Формально же я не был теперь ни членом ЧК, ни председателем Совета, ни членом Губкома, единственно то, что я был членом [В]ЦИКа. Это мешало. Но мешало только в случае осложнений, а совсем не мешало, если все пойдет гладко. И надо, чтобы пошло гладко.

Но что же я буду делать с этими «двенадцатью», что охраняют Михаила? Ничего не буду делать. Михаил бежал. ЧК их арестует и за содействие побегу расстреляет. Значит, я провоцирую ЧК на расстрел их?

А что же иначе? Иного выхода нет. Выходит так, что не Михаила одного убиваю, а Михаила, Джонсона, «12 апостолов» и двух женщин — какие-то княжны или графини, и несомненно жандармский полковник Знамеровский. Выходит ведь 17 человек. [59] Многовато. Но иначе не выйдет. Только так может выйти.

А выйдет ли? — Все они вооружены. Все владеют оружием. Все офицеры, и естественно, что они могут оказать и окажут сопротивление. Тогда как?

Во что бы то ни стало, но пристрелю Михаила. И пристрелю.

А может быть, сопротивления не будет? Если есть офицерская организация, готовящаяся похитить Михаила, то о наличии ее все это окружение осведомлено, и они несомненно с ней тесно связаны, то психологически сопротивление невозможно, так как они будут думать, что это и есть офицеры, похищающие Михаила.

Но знают ли они их в лицо — может быть, Михаил, Джонсон

и еще кто-нибудь из близких, а все не могут знать. Это рискованно.

Но Михаил, увидя нас, может отдать приказ стрелять — надо этому помешать. А как? Надо, чтобы товарищ начал разговаривать с Михаилом и не отпускал его. При первой попытке сопротивления должен пристрелить Михаила. Надо, чтобы они видели бесполезность сопротивления.

Да ведь у нас будет мандат ЧК. Чего же еще? А что если он захочет проверить по телефону? — Не дадим. Да и это будет ночью — в ЧК никого не будет, кроме дежурных сотрудников.

Собирался убить одного, а потом двух, а теперь готов убить семнадцать!

Да, готов. Или 17, или реки рабоче-крестьянской крови с неизвестным еще исходом войны. Революция это не бал, не развлечение.

Думаю даже больше, что если все сойдет гладко, то это послужит сигналом к уничтожению всех Романовых, которые еще живы и находятся в руках Советской власти. Ну, и пусть.

Если сейчас на фронтах гражданской войны льются ручьи крови, то, подарив Михаила Колчаку, — польются потоки.

Гражданская классовая война тем отличается от межнациональной, что она происходит в каждом городе, в каждой деревне, повсеместно, где есть различные классы, противостоящие друг другу.

Михаил и его приближенные — это штаб, главный штаб, от которого зависит многое, а может быть, и исход войны. И имея этот штаб в руках, не уничтожить его, это значит быть тряпкой, а не революционером, значит помочь врагу бить нас. Этого-то я делать не собираюсь. А напротив. Надо привести в исполнение приговор истории. И колебаниям нет и не должно быть места.

Если бы сейчас под штаб Колчака подложить мину и взметнуть его на воздух со всем[и], кто там есть, а их там не 17, то было бы это полезным для революции делом? Конечно. В какое же сравнение может идти Колчак с Михаилом?

Итак, решено. Твердо, бесповоротно. И решено, собственно, не сейчас, а в те три ночи моих размышлений. Там все основы основ, а теперь просто детали и техника.

49. Еще заскок мыслей

Все, говорю, решено твердо и бесповоротно, а как-то не могу оторваться от мыслей, не могу их обрубить и не думать. И нет-нет да опять начинаю. Вот и сейчас ловлю себя на том, а как бы

посмотрел Толстой на моем месте?

Если бы Толстому предстояло убить Михаила и спасти многие тысячи жизней трудовиков, то решился бы он убить? Если бы ему нужно было убить тифозную вошь, разносящую заразу, и спасти множество людских жизней, то убил бы он эту вошь? Да, убил. Убил бы и не задумался. А Михаил? Разве он лучше тифозной вши? Ведь тифозная вошь может сделать отбор, умертвить слабых и оставить в живых сильных, а эта вошь будет истреблять всех, а пройдя через горы трупов, воцарится и будет угнетать, давить, порабощать... И борьба возгорится снова, и снова реки крови и горы трупов.

Толстой убил бы эту вошь. Он должен был бы убить. Хотя... он предпочел отдать свое имение семье, а не крестьянам, и это после революции 1905 года! После такой революции, которая выявила лицо крестьянина: он хотел взять землю, политую потом — грядой поколений крестьянских. И... помещик Толстой мешал Толстому-мыслителю понять — куда мы идем. /.../ Проповедь непротивления имела целью укрепить это помещичье царство. И потому, если бы ему предстояло убить одного помещика и спасти сотни тысяч крестьян, то он отказался бы это сделать: пусть гибнут сотни тысяч крестьян, но не тронь помещика. А ко всему этому придумал бы хитроумную словесность для успокоения своей помещичьей совести: огнем, мол, огня не потушишь, а насилие насилием не убьешь.

Всякое возможно. Больше правы были те крестьяне, которые считали, что Толстой это помещик с дурнинкой — не знает, что делать, вот и блажит. С жиру бесится. И когда они приходили к нему сорвать с него на коровешку, то думали: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Они были правы. Он был потомственный почетный дворянин и помещик, и остался верен своему помещичьему роду до конца дней своих, во всех проповедях и делах своих. Он только умнее других защищал помещичий строй. Это и все. И ему не нужно было бы долго размышлять и думать над моей задачей. Он бы ее решил в пользу помещика практически, умаслив крестьян елеем словесным.

Да, так-то!

А Достоевский?

Этот откровенный защитник православия, самодержавия и народности. Он еще меньше стал бы думать, чем Толстой. Тот не убил бы помещичий строй (помещика), а отдал на растерзание миллионы трудовиков, но прикрыл бы это елейной ложью от Евангелия, а Достоевский был бы откровеннее.

Какую силу презрения нужно было иметь в груди Достоевского к трудовому народу, чтобы нарисовать два типа,

Ивана Карамазова и Смердякова?

Теперь время смерда. Сам смерд берется решать свою судьбу. Он разоряет дворянские гнезда, он идет на сокрушение промышленного феодализма, он трясет основы поработительского строя, и ему самому надо решать вопросы войны против поработительского неба и земли.

Надо думать, что скоро появится художник сильнее Достоевского и нарисует нам тип великого смерда, великого Смердякова, вкусившего от древа познания добра и зла, и трусливого, гадкого помещика-буржуа, чувствующего, что ни сила небесная, ни сила земная не могут спасти его от сурового приговора истории. История дала заказ. Найдется достойная рука выполнить эту историческую миссию.

Достоевский — охранитель помещичьего строя, с величайшим презрением и брезгливостью впустил он смерда в свою комнату и пустил его для того, чтобы опоганить его, превратив этого смерда, вкусившего от древа познания добра и зла, в полное собрание всех мыслимых пороков, дабы напугать либеральствующих и умствующих лукаво Иванов Карамазовых. Надо реабилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского, показав величие Смердяковых, выступающих на историческую сцену битвы свободы с гнетом, попутно рассказав всю правду о поработителях — богах.

Разумеется, Достоевский был бы целиком на стороне первого из помещиков — Михаила.

Он бы предпочел пролить реки крови смердов, лишь бы продлить царство помазанников божиих на земле.

Выходит все-таки невесело: я — против всех. Ленин, Свердлов — это голова партии, членом которой я являюсь. Я могу только догадываться о мотивах, побудивших [их] давать телеграфные приказы; более или менее правильно строить свои предположения, но это все-таки мои предположения и не больше.

Все местные работники Перми против меня в этом пункте. Я это вижу, и особенно теперь.

Толстой и Достоевский тоже против меня. И понятно, что Милюковы, Керенские, Даны, Колчаки — тоже против.

И вот я один. Скучно, брат.

Один против всех.

Когда сидишь в орловской одиночке, то там поневоле один, а вот теперь на воле, в кругу товарищей, друзей — но один. Это тяжелее, чем одиночка.

Но нет. Я чувствую, что я делаю дело нужное, полезное нашей революции, пролетариату и крестьянству. В этом моя сила и право.

Да, но я все-таки один. Потом-то буду не один, а теперь один. Это тяжело.

А где же искать легкой революции? Революция — это трагедия истории. А сейчас трагедия трудовых масс и отживших классов. Быть революционером и ожидать только легкой жизни, легкого занятия — это революционер по моде, авантюрист.

50. Надо начинать

Сейчас пойду в завод, пройдуся. Погляжу на рабочих и себя покажу. А там увижу Колпащикова и скажу, чтобы сегодня вечером часов в 8 пришел... А куда?

В Исполкоме не надо собираться. Не надо и в Комитете Партии. Надо где-то на стороне. Но где? У меня нет квартиры. Ну, где-нибудь... И в это время я услышал, как товарищ Гайдамак пробует аппарат кинематографа, и тут же сказал себе — вот и место. В будке кинематографа, у Гайдамака. Он будет занят и ничего не услышит и ничего не поймет.

Если что-нибудь придумаю лучше, то хорошо, а пока и это сойдет.

Только вышел из Исполкома, это было в полвторого, вижу, с завода идет Иванченко. Я его окликнул, а он, улыбаясь и здороваясь, повернул ко мне.

Поздоровавшись, я ему и говорю:

— Приди сегодня вечером в 8 часов к Исполкому. Дело есть.

— Хорошо, приду.

— Без опоздания только. Да, еще вот что. Ты можешь увидеть Жужгова, Колпащикова и Маркова?

— Жужгов в милиции, наверно, а Колпащикова и Маркова я могу увидеть.

— Ну, так ты скажи им, чтобы они пришли в 8 часов, а Жужгову я сам скажу. Идет?

— Ну, конечно, идет.

Повернул к милиции и встретился с Жужговым. Предупредил. Ни Иванченко, ни Жужгов не спросили, зачем я их зову. Хороший признак. Верят. Раз зову, значит надо.

Решаю — их не отпускать от себя до окончания дела. Расскажу все, как есть, ничего не утаивая и не скрывая.

51. Иду купаться. /.../

Погода хорошая. Солнце греет на славу. Жарковато. Не

искупаться ли? Пойду искупаюсь.

Зашел к себе. Взял полотенце и пошел на Каму. /.../ Против завода, что своими Камскими воротами упирается в Каму, обозначился небольшой островок. В августе он будет больше, и между ним и этим берегом можно будет проходить по дну. А теперь он далеко. Хочется мне на него сплавать и полежать там на солнце и ни о чем, ни о чем не думать.

Разбросанные по берегу Камы плоты леса значительно поредели, много выгружено. Я иду к одному из них. Пробираюсь между разбросанным и еще не сложенным в штабеля лесом. Вошел на плот. По Каме катаются на лодках, а то переезжают с одного берега на другой рабочие, что живут за Камой. Тихо. Редко где покажется рябь и образует какой-то темный островок на блестящей под солнцем воде Камы.

Раздеваюсь и бросаюсь в Каму вниз головой. Вода обожгла, поплыл на остров. Чувствую легко и свободно себя. Приятно плыть. Хлопаю ладошами, сжатыми наподобие ложки, по воде Камы, и гулко отдают хлопки. Какая-то свежая радость проходит по телу, так ласково омываемому водой. Начинаю уставать плыть вразмашку, перевортываюсь на спину и плыву. Вижу частокол труб заводских, выбрасывающих глыбы дыма. Тихо поднимаются и удаляются к северу. Шум завода какой-то особенный, без деталей, а как будто кто-то великий, могучий равномерно вздыхает и сотрясает землю. Особенно когда заработает 50-тонный молот, все покроет своим грохотом.

Вот этот чумазый, дымный, прокоптелый великан так размашисто расположился на берегу Камы. Почему он так пленительно родной и близкий? Почему я его люблю? За что? Люблю со всем шумом, грохотом, свистом и писком ремней, дребезжанием шестеренок, шипением металлической лавы, что льется из вагранок и мартена. Неужели потому, что там, внутри его, — армия труда, которая творит новый мир? А может быть, и потому, что ведь это мозг, пот, кровь людей, что создавали его. Может быть, это и потому, что весь опыт поколений, вся наука и искусство работать [с] концентрированы в этом мощном великане? Когда же эти великаны перестанут работать для убийства, для истребления людей, а только на радость и счастье? /.../

Я пошел в Исполком. /.../ Было часов пять вечера. В Исполкоме никого кроме уборщицы и дежурных красногвардейцев не было. Уборщица начинала прибирать бумажный мусор, а красногвардейцы, уткнувшись в газету, сидели на кожаной кушетке и читали.

— Товарищи, кто мне купит что-нибудь съедобное? Все

вразброд отвечают:

— Я могу. А что надо?

— Да я не знаю, что можно, то и купите.

— Что же именно? Яиц, молока, хлеба, еще что?

— Довольно и этого.

Я даю деньги и возвращаюсь к себе в комнату. Думаю: все решено, все обдуманно, все проверено, а есть какое-то беспокойство, смятение, и хочется еще и еще раз узнать, все ли проверено, все ли пересмотрено? Нет ли чего такого, что составило бы потом, после, основу раскаяния? И опять моментально проходят все мысли и снова и снова наступает успокоение. И чувствую себя хорошо и бодро.

А разговор с Гришей Авдеевым^[60] кое-что задел по-новому. Но странно: такой глубокий, самобытный ум, такой оригинальный и сильный мыслитель, как Гриша, на практический вопрос: убил ли бы ты 17 [человек], если бы были приказы Ленина и Свердлова не убивать, не трогать и был приказ твоего сознания, что это надо сделать, надо убить, — на этот вопрос он отвечает формально, — они ответственные, а не я. Это не продумано. Потом он должен будет ответить иначе. Он тихо думает. А вопрос его застал врасплох. Но тем не менее это интересно: ненавидит интеллигенцию, а считает нужным подчиняться приказам ее и тогда, когда видит их нелепость, а может, даже и преступность. А я уверен, что если бы я его позвал с собой, он бы пошел с величайшей готовностью. Странно как-то: свой ум менее авторитетен, чем ум другого: он не убил бы, если бы считал необходимым убить, потому что Ленин и Свердлов не считают нужным и необходимым, но он убил бы, если бы еще был и мой голос в этом хоре. А я ни в какой мере не разделяю этой ненависти к интеллигенции и действительно уважаю и Ленина, и Свердлова, но иду против всех их приказов, не зная ничего достоверного, что лежит в основе этих приказов, я себе и уму своему верю больше, чем любому авторитету, и вот я иду и убиваю. /.../И кто не был никогда в таком положении, тот не поймет, как это тяжело. Это тяжелее, чем быть в пустыне или на необитаемом острове одному, потому что там — сознание физической непреодолимости, а здесь его нет: вокруг меня тысячи, миллионы, а я один. И не могу даже поговорить с теми, кого я уважаю и люблю. Не могу сказать ни Ленину, ни Свердлову, ни даже поговорить с Туркиным.

Ленин и Свердлов дают [свою] оценку положения дел внутри и вне страны, а я даю свою. Они пришли к одним выводам, а я пришел к другим, и действую. Но действия кровью пахнут...

Это, впрочем, не в первый раз. Вопрос разоружения казаков

тоже решен пи-разному: они дают мандаты, а я их рву и разоружаю. Это будет вторая мотовилихинская поправка. Теперь все видят, что не они, а я был прав. И если бы наши товарищи во всех организациях поменьше верили в авторитеты, а [больше] в свой ум и побольше проявляли инициативы, то очень возможно, что контрреволюция не сумела бы так быстро организовать и представлять из себя такую гигантскую силу.

Ведь разоружь всех этих казаков и чехословаков по пути следования в Сибирь, разоружь, вопреки всем приказам и мандатам, мы не имели бы этого положения, что имели теперь, когда вся Сибирь в руках контрреволюции. И она грозит взять и Урал.

Да, все это так. Я прав. А хочется не только быть правым перед своим сознанием, но и в сознании многих и многих.

17 человек это не 17 вшей. Это тоже верно. Но я хочу одного убить, и какое мне дело до остальных 16-ти. Их если и убьют, то не я, а ЧК.

Нет, нет, это не годится: никогда я не умел прятаться за хорошо придуманную ложь, за софизмы. Я провоцирую ЧК на убийство. Я их убиваю. Я отвечаю за их жизни: не формально, а фактически. Нечего и не на кого сваливать. А надо просто прямее поставить вопрос: если бы надо было к Михаилу подойти через трупы 16-ти, то убил бы я Михаила? Да, убил бы. Вот это честно. Без хитросплетенной лжи, без самообманного утешения, без румян и белил. А потому: лучше не убить этих 16, а убить одного Михаила. Но убить надо, и я убью. И не надо перекладывать ответственность на кого-то. Если есть желание переложить ответственность, то значит, что есть колебания, есть что-то неясное, недодуманное, непонятое и потому страшное, пугающее, сеющее неуверенность.

Было бы нелепо и погано придумать какую-то ширму для себя, вроде того, что не я, а ЧК убивает. Это очень похоже на то, что когда я заколачиваю гвоздь молотком, говорю: это не я, а молоток забивает. Или: очень возможно, что я физически не убью Михаила, а убьет его Жужгов, скажем, так я придумаю для себя софизм, что это Жужгов убил, а не я. А ведь Жужгов... Да только ли Жужгов? А все эти ответственные работники, которые с такой готовностью выполняют приказы Ленина и Свердлова и так зорко охраняют его от меня, что это? Разве не доказательство того, что не убей его я сегодня, завтра или послезавтра он будет стоять во главе всех контрреволюционных армий? Да, может быть, что я физически не убью ни одного из них, но надо быть лично готовым к тому, чтобы убить всех их физически. И быть готовым к ответственности, как будто всех 17 человек убил я, лично сам. И

только в том случае я имею право пойти на это дело. И только в этом случае я имею право заставить кого-то убить их. Готов ли я к этому? [61] Без всяких колебаний. Ответив на этот вопрос, я почувствовал у себя на ремне «Кольт» и потрогал его рукой: как будто я физически себя проверяю. И «Кольт» был готов разрядиться два раза подряд без остановки.

В это время входит уборщица и приносит приготовленную уже пищу: яичницу, хлеб, молоко. Я гляжу на нее и думаю: даже она пошла бы со мной и убила всех. А сейчас спроси ее, и она испугается и мысли об убийстве. А не спросить ли?

— Вы что это, тов. Решетова, никак мне обед изготовили?

— Да, т. Мясников. Только готовение-то плохое: ни масла, ни крупки, ни мучки, ничего-то у вас нет, а без этого не изготовишь. Ну, а я думаю: так-то все-таки лучше, чем сырые и вареные яйца, все-таки горяченькое и на обед похоже.

— Спасибо вам за ваши заботы.

— Не за что, кушайте на доброе здоровье. Плохо вот, что некому о вас позаботиться.

— Как некому? Вот видите, сегодня вы, а завтра и еще кто-нибудь. Так и живу, и не голодаю.

— Ну, уж и живете тоже. Что, я не вижу? Кто, кто, а я-то лучше всех вижу, как вы живете.

— Что, плохо?

— Конечно, плохо.

— Хуже бывает.

— Бывает, да редко.

— Разве редко? Ну и пусть, беда не велика. Итак, за ваше здоровьем, значит.

— Кушайте, а потом я приду и приберу комнату. Не спросить ли? Нет, что за легкомыслие! Что ее пугать и тревожить -

Обедал я почему-то долго. Я заметил по тому, что уборщица два раза заглядывала в дверь, а я все еще не кончил. Когда я принялся за пищу, то подумал, что это в последний раз перед «делом» и тут же: а те 17, может быть, в это же время садятся за стол и тоже в последний раз...

И больше я ничего не помню, что было со мной за столом. Решетова зашла и разбудила меня. Первый раз я уснул в таком положении и так внезапно. Был ли это сон или нервный припадок или еще что-то.— я не знаю. Все усилия хоть что-нибудь припомнить, кроме этих двух коротких мыслей, не привели ни к чему, как отсекло.

А обед был съеден. Уборщица, тронув меня за плечо, сразу возвратила меня в действительность, и я чувствовал, что я не спал.

Трогая за плечо, она говорит:

— т. Мясников, что вы так мучаетесь, ложитесь на кровать.

— Нет, нет, я не хочу спать, да мне и некогда, а это что-то другое, а не сон.

Она пристально поглядела на меня и, качнув головой, говорит:

— Вы какой-то желтый, не больной ли?

Я, не ответив, вышел из комнаты на двор и думал: это первый раз со мной. Что это? Переутомление или что другое? Долго я вожусь с этим делом, надо поскорее кончать. Да, кончать.

Скоро придут товарищи. Что им сказать? Все, как решено, ничего не утаивая. Ну, а что если заколеблются и не решатся пойти против приказов Ленина и Свердлова?

Нет, это невозможно, или я ничего в людях не понимаю, что выбрал этих товарищей. Этого быть не может.

А положение их довольно трудное: две стороны — Ленин и Свердлов дают приказ, а здесь я даю противоположный. Они должны выбирать. Они могут выбирать, они свободны. А это нелегко. И потому надо мобилизовать всю силу своей правды и всю способность убеждать и внушать, чтобы не было у них ни тени колебаний.

Бывает чаще всего, что победу одерживает авторитет, а не истина. Неправда. Победа авторитетов временна, непрочна, но победа.

53. Без четверти восемь.

Пора начинать

Я вышел на улицу и пошел по направлению к рынку, и встречаю Фоминых. Он рабочий, но какой-то жидкий и гибкий, и скоро вошел во вкус бюрократических тонкостей. Комиссар, бюрократ, метящий пробираться выше и выше, он удивительно аккуратен, чист, прилизан, словно только что из-под утюга. И откуда он постиг эту мудрость?

— Ты что, тов. Мясников, в кинто [так! — Публ.]? — протягивая руку, спрашивает он.

— Нет, не в кинто, а может быть и в кинто, не знаю, я занят сегодня.

— А когда ты не занят? А знаешь, мне Сивелев говорил, что ты речь должен сказать перед тем, как будут демонстрировать фильм.

— Ну, это дудки. Пусть Сивелев говорит.

— Да тянет он очень. Не любят его слушать.

— Ну, для кинто лучше и не найти. А сколько время?

— Полвосьмого.

— Это верно? — Гляжу на свои часы и говорю: — У меня без четверти восемь.

— Пожалуй, твои вернее.

— Ну, пока. — Подаю руку и ухожу, завидев приближающегося Иванченко. — Ты аккуратнее всех.

— А то как же? Раз ты сказал, что надо, — значит четверть часа, куда ни шло, жертвую на алтарь моей любви к тебе.

— Ну, это можно и не делать, мне от твоей жертвы ни жарко, ни холодно.

— Нет, Ильич, я хочу знать, любопытство меня разъедает, что за дело у тебя.

— А вот когда придут все, то и расскажу.

— Ты как-то немного напугал всех нас своим необычайно серьезным видом, когда назначил время явки. Мы уже перекинулись словом и решили, что это неспроста.

— И вы правы.

— Ну, а понять не могли, что ты задумал.

— И это хорошо. Если бы все могли понимать, что я задумал, то дело было бы дрянью.

— Ну, вон Жужгов и Колпашиков.

— А Марков опаздывает. Это плохо.

— Нет, не опаздывает, — раздается голос Маркова сзади меня.

— Ну, и хорошо. Все как по писаному. Оружие при вас?

— А то как же?

— Так вот что — стоять здесь нам всем неудобно: сейчас пойдут товарищи балясы точить. Пойдемте в кинто, в будку к Гайдамаку. там и поговорим.

Вижу — у всех на лицах страшное нетерпение: хочется знать, что за дело, и потому быстро, быстро все на двор кинто и в будку.

[62]

54. Наше заседание

Кинематограф — это длинный деревянный одноэтажный дом на манер сарая Для Мотовилихи это второе развлечение: театр и кино. По типу они похожи один на другой. Если принять во внимание, что на всю Мотовилиху с 35 или 40-тысячным населением не найти и десятка двухэтажных домов, а все — одноэтажные, маленькие деревянные хибарки, то эта убогая лачуга под кинематографом на фоне этих хибарок кажется красотой и роскошью.

Все двери кино открыты. Это и удерживает, должно быть, публику в помещении кинематографа в такой дивный вечер.

Серо, сумерки. Тихо, не шелохнется. Глубокое небо и мерцающие звезды, борющиеся с дневным светом: тоже вопрос — мерцают они или это мое ощущение? Соответствует ли что моим зрительным ощущениям вне меня, объективно? — Ну, а они все-таки мерцают, а от этого настроение лучше, бодрее, как будто они хотят поговорить со мной. И вспомнил я предложение Гриши Авдеева — рыбачить. Рыбачить, не рыбачить, а полежать на свежем воздухе, глаза в звездное небо, слушая шепот и говор вод Камы, это бы дело. Да, но не сейчас. Собственно я ведь это только в детстве испытал, больше мне не приходилось: некогда.

Так, думая вразброд, направляюсь после товарищей на двор кино, мимо раскрытых дверей, но занавешенных, прибавляю ходу, чтобы никто не остановил, и это меня возвращает к делу, мысль повертывается в сторону доклада: как сказать и что сказать? И тут же ухватываю тему за какое-то место, и она вся целиком передо мной, во всей сложности и простоте, только обсказывай знай. /.../

Я чувствовал большую ответственность и был более насторожен, чем на каком-нибудь ответственном диспуте, и потому все так вышло хорошо.

Захожу в будку, ребята стоят и перекидываются словечками, ожидая меня. Гайдамак же крутит ленту. Подхожу я к Гайдамаку, а он, улыбаясь, кричит, что же я вздумал в гости к нему придти.

— Да, видишь ли, пошел в кинематограф, а мне сказали, что я говорить там должен, но я сбежал, да и душно там, и мы к тебе поболтать между собой. Мы тебе не помешаем?

— Нет, нет, т.Мясников, что вы, какая помеха.

— Ну, так и хорошо. Ты крути, а мы вон там в сторонке присядем.

Сказав это, я отошел в сторону и как можно подальше от него. Товарищи приблизились ко мне. Есть всего один стул, я сажусь и приглашаю их взять поленья дров и усесться на них. Они так и делают. И все четверо плотно полукругом усаживаются против меня на поленья. Оказалось, что я сижу повыше их всех и для разговора это, собственно, было хорошо: их уши были немного пониже моего рта.

Когда мы уселись, их лица снова приняли напряженно-выжидательное выражение. Я посмотрел на них сразу на всех и сказал:

— Товарищи, я вас позвал сюда для очень ответственного дела. И прежде, чем сказать вам, в чем это дело состоит, мы должны связать себя обещанием, твердым словом рабочих-революционеров, что ни в каком случае не будем рассказывать

никому ничего из того, что вы здесь услышите. Всякий, кто расскажет, он отвечает своей честью и головой перед остальными четверыми. Согласны ли товарищи взять на себя это обязательство?

— Конечно, конечно, что за разговоры.

— Вы, товарищи, видите, что я был уверен в вас и потому из всей нашей организации я выбрал вас четверых. Я знал, что вы будете согласны.

Эти две фразы сразу отдали их в мое распоряжение: мы уже составляли с ними не пять голов, не пять волей, а одну волю и одну голову. И эти же фразы придали им сознание ответственности, важности и серьезности дела, и внимание их, напряжение повысилось до предела.

— Вы знаете, товарищи, — продолжал я, — что в Перми живет Михаил Романов?

Сказав это, я обвел их глазами, и у всех прочитал одно и то же; а, вот оно что. Вот какое дело. И видел я, что они уже согласны. Можно было сразу спросить — согласны? И они не только поняли бы, но и ответили бы разом — согласны. Но я не хотел ничего строить на догадках и недоговоренностях. Хотел ясности и точности. И потому я продолжал.

— Вы, знаете, товарищи, также и то, что он живет без всякой нашей охраны, со своей собственной охраной из пажей. Когда его привезли сюда, его посадили в тюрьму. Вскоре Губисполком и Губчека получают телеграмму за подписью Ленина и Свердлова, что Михаила необходимо освободить. Никто не протестовал и освободили. Тюрьмы строились царями, но для нас, а не для них. И сидеть в тюрьме для них никак нельзя. Освободили и установили надзор ЧК, но его императорское величество не могло остаться довольным. И опять заработала машина, и вновь привычные ходатаи с заднего крыльца полезли во все щели, и результат получился неплохой: вновь получили телеграмму за подписью Ленина и Свердлова: освободить из-под унижительного надзора ЧК. Наши власти Перми исполнили приказ, но заменили надзор ЧК надзором милиции. Но и это не может перенести его императорское величество. И вновь ходатайства, и вновь телеграмма за теми же подписями: освободить Михаила от всякого надзора с прибавкой: не считать Михаила контрреволюционером. /.../

Неужели мы отступим перед этой падалью истории, Михаилом? Нет, товарищи, мы не можем сделать этого ни во имя прошлых мук поколений, ни во имя грядущих страданий и мук, которые неминуемо придут, если мы его оставим живым. Мы его должны уничтожить и уничтожим. И мы уничтожим так: Ленин и

Свердлов бояться осложнений? Пусть. Мы их не скомпрометируем. Есть офицерская организация, которая хочет устроить ему побег? Есть.

Так шутите, господа хорошие. Мы вам устроим этот побег: Михаил бежал.

Сегодня мы его возьмем и расстреляем. Завтра ЧК узнает и расстреляет всех его охранников за содействие к побегу, дав во все стороны телеграммы. Официально Михаил бежал, а фактически он расстрелян. Ленин и Свердлов могут сказать: бежал, а контрреволюция его иметь не будет. Товарищи, если мы не сделаем сегодня этого, то завтра, может быть, его уже не будет, завтра, может быть, он будет стоять во главе всех контрреволюционных сил, а это значит, если мы, советская власть, носим голову на плечах, то это будет стоит сотен тысяч рабоче-крестьянских жизней.

И, товарищи, прежде чем предложить вам технический план исполнения этого дела (а он у меня готов), я предлагаю высказаться принципиально, согласны ли мы сделать это или нет. Кто хочет слова?

— Конечно, согласны, — отвечает за всех Жужгов.

— Ну, а вы как, товарищи?

— Согласны, Ильич, что разговаривать. Что с этой гадостью церемониться, — говорит Колпашиков.

А Марков и Иванченко с горящими глазами, со стиснутыми челюстями и нахмуренными бровями, буркнули разом:

— Давно пора.

— Вижу я, что все четверо готовы, и я доволен. Итак, вперед без страха и сомнения, выходит? Ну, а теперь я должен вам сказать, что всю ответственность за это дело беру на себя. Если нужно будет в угоду буржуазии всего мира принести жертву, то этой жертвой буду я: пусть меня расстреляют.

— Ну, это ты ерунду городишь, Ильич, — говорит Жужгов. — Да кто же даст тебя расстрелять? Ну, уж если надо будет расстрелять, то я стану под пулю за тебя.

И все трое остальных попеременно:

— Вот сказанул, да любой из нас сейчас за тебя не только голову, а если бы их было десять у каждого, то все отдал бы.

— Ну, так, товарищи, я ведь и не сомневаюсь в этом и потому я вас именно вызвал. А дело-то может повернуться так, что нужен будет гласный суд, с адвокатами, прокурорами, корреспондентами буржуазных газет и т.д. и т.п. Ну, и тогда как? Ведь надо будет речь сказать и сказать с толком, почему я сделал это, вопреки всем приказам, ведь нужно будет растолковать исторический смысл этого акта. Ну, а кто из вас сделает это?

— Никто, — мрачно буркнул Жужгов.

— Ну, то-то же и есть.

— А тогда всем вместе, — торопливо выпаливает Иванченко.

— А зачем это? Какой смысл? Не лучше ли погибнуть одному за всех пятерых. Если спросят меня на суде, были ли у меня сообщник, я скажу, что были, но разве я смогу назвать вас? Нет, никогда. Итак, решено, что я беру это на себя. Это на всякий случай, товарищи. Может быть, этого и не надо будет и все обойдется хорошо: ведь мне моя голова тоже нужна, как вы думаете? Ну, вот, вы улыбаетесь, а я наверняка могу вам сказать, что жить мне без головы очень скучно, и я постараюсь избежать и этой маленькой потери.

Еще одна подробность: может быть, в связи с газетными и официальными сведениями о побеге в рядах белогвардейцев создадут самозванца — Михаила II, как тогда быть? Я думал об этом и решил, что если что-нибудь в этом роде будет устроено, то мы выроем Михаила из могилы и положим труп его перед Королевскими номерами, и вот тут тоже может получиться, что надо будет открыть убийцу и судить его, и я предстану перед судом.

А теперь техника. Сегодня ровно в 12 часов ночи мы будем в Королевских номерах и возьмем Михаила. Товарищ Жужгов будет иметь на руках мандат от имени ЧК. В этом мандате будет сказано, что ввиду приближения фронта, т. Жужгов уполномочен эвакуировать Михаила Романова в глубь России. С этим мандатом т. Жужгов войдет к Михаилу и возьмет его. Все вещи и остальные люди будут эвакуированы позднее. Так должен будет сказать т. Жужгов. Мандат еще не написан, но мы заедем в ЧК, и там я все устрою.

— Но туда без пропуска не пройдешь, — замечает Марков.

— Ну, т. Мясников пройдет, да и нас протащит, — замечает усмехаясь Иванченко.

— Да, товарищи, я думаю, что смогу пройти без пропуска:

все красногвардейцы если не в лицо, то понаслышке знают, и с этой стороны затруднений не будет.

Дальше. Тов. Марков будет наблюдать с лестницы, что будет происходить там, и передавать т. Колпашикову, который будет стоять внизу. Тов. Иванченко будет около лошадей. Я буду около дверей гостиницы. Все затруднения и неполадки немедленно сообщать мне, не давать никому говорить по телефону. В 10 часов мы берем двух хороших лошадей с заводской конюшни: сильных и бегунов. Берем без кучеров. Отправляемся в Пермь в ЧК и все это проделываем сегодня же, во что бы то ни стало.

— А дадут ли лошадей без кучеров? — тревожится

Колпашиков.

— Ну, как не дать, если он нажмет, — кивая в мою сторону, бросает Жужгов.

— Итак, товарищи, мы готовы, значит?

— Да, готовы, — роняют россыпью все и поднимаются, шум[но] отталкивая поленья.

— Идем в Исполком. Буду звонить на конюшню. Эх, товарищи, немного не позабыл, остановитесь на минутку: вы местный народ и знаете Мотовилиху лучше меня, скажите, где мы его похороним, и не приготовить ли заранее яму?

— Ну, ты будто не знаешь Мотовилихи. Поди все обдумал давно, только нас пытаешь, — бурчит Жужгов.

— А я думаю, что за Малой Язовой, в лесочке.

— Ну, вот видите, а спрашивает, лучше и не придумаешь, — опять как будто нехотя глухо роняет Жужгов.

— А яму как?

— Это дело не сложное, час работы, выроем, когда привезем, — говорит Иванченко.

— Я тоже думаю так, — отвечаю я.

— А все-таки ловко же ты, Ильич, все обдумал, комар носу не подточит, — говорит Колпашиков.

— Цыплят по осени считают, дорогие товарищи. Все одно:

глядеть-то ловко, а станешь делать, все и пойдет прахом. Надо сделать хорошо, а не только обдумать. Ну, я верю, мы сделаем.

— Конечно, — отвечают вразбивку.

— Идем, товарищи. Подождите малость, я побалагурю с Гайдамаком, а то он все поглядывает сюда: удивляется. Надо успокоить.

— Что, тов. Гайдамак, изрядно надоели мы тебе? — подхожу я к нему и бросаю на ходу.

— Ну, сказанул тоже, тов. Мясников, я гляжу, что ты ребят занял каким-то умным разговором, что все они стали задумчивые: головой заставил работать, и мне досадно, что я не мог тебя послушать.

— Это не уйдет, тов. Гайдамак, послушаете в другой раз, а для вас я еще умнее что-нибудь придумаю и более веселое. Вы ведь весельчак, не любите, поди, печальных историй?

— Вот все думают, что я и печалиться не способен, это неправда. Мне думается, что я больше тоскую и горюю, чем многие, но только не прячу рожу в варежку печали, в этом и разница.

— Это хорошо. Я вас понимаю. А, пожалуй, пора мне восвояси. До свиданья, тов. Гайдамак, я вам мешаю.

— Нет, нет, т. Мясников, не мешаете. Что? Спешите? Ну, так до свиданья.

Пожавши руки, мы расстались.

Гляжу на часы. Время девять с половиной часов. Пора, думаю. Пока запрягут — будет десять. И с этим выхожу на двор кинематографа, где меня ждут товарищи.

— Ну, двигаем, товарищи. Небо чистое, нет ни облачка. Тихо, не шелохнется. Приятно и сладко в воздухе. Завод гудит, трещит кино.

55. Мы едем

Правду сказал Гайдамак, что товарищи немного задумчивы и как будто насторожились. Идем молча, не разговариваем. Я чувствую, что у них проснулся дух старых конспираторов и немного порастолкал привычные чувства, мысли, дезорганизовал их, чтобы организовать заново. От этого некоторая необычная настороженность и задумчивость.

Заходим в Исполком.

— Товарищ Марков и ты, т. Колпашиков, вы пойдете немного погодя в завод и возьмете лошадей, чтобы кучера сюда не приезжали, делать им здесь нечего.

— Хорошо, это лучше, — отвечает Марков.

Звоню в завод, прошу запрячь двух хороших, сильных лошадей, а кучеров не назначать. Запрячь сейчас же, за ними придут.

Спрашивает, кто говорит, и отвечает, что сейчас же будут готовы.

Кладу трубку и говорю:

— Ну, друзья, вы можете отправляться за лошадьми, пока дойдете, их запрягут.

Они поднимаются и уходят. Мы остаемся с Жужговым и Иванченко. Тот и другой знают Свердлова по работе в организации в 1906 году и по тюрьме. И, должно быть, один и тот же вопрос долбит их мозг, и они как-то сразу, вместе встрепнулись и, обернувшись ко мне лицом и упершись своими глазами в мои глаза, спрашивают:

— Как же мог Свердлов так промазать?

— Трудно, товарищи, что-нибудь сказать определенное, но ясно, что ошибка с их стороны громадная. Ну, представьте, что я подчинился всем их распоряжениям, как все другие, а в это время организация офицеров сделала бы свое дело, и что тогда? А с другой стороны, товарищи, наше ЧК расстреливает наших

рабочих-мотовилихинцев за то, что они «шептуны». Выходит совсем скверно: очень много телеграмм в защиту Михаила и ни одного слова в защиту рабочих. Я могу сказать на основании доклада Лукоянова, что большинство расстрелянных — рабочие и крестьяне, и расстреляны за то, что они меньшевики или с.-р.-ы. Это что такое? Скверно это, товарищи.

— Да, я слышал от Малкова, что ты там здорово их утюжил, — говорит Иванченко.

— Нет, тов. Иванченко, не здорово. Здорово было бы, если бы я их расстрелял за это. Вот это было бы дело, а так выходит, что я их критикнул малость, они признали линию ошибочной, ну и все. А ведь эта линия «ошибочная» кровью пахнет, кровью рабочих. А вот Гриша Авдеев сегодня говорил — а что если такая вот линия везде и всюду, то ведь она дорого обходится рабочим. Они кровью за нее платят. И в это же время много телеграмм в защиту Михаила и ни одной в защиту рабочих. Это странные ошибки. Не нравятся они мне. И знаете, у меня, кроме всего прочего, есть немного злости против Свердлова и Ленина, и я как бы мщу им за рабочих, расстреливая вопреки всех их приказов Михаила. Конечно, если бы не было тех доводов, о которых я вам доложил, то, руководясь этим чувством, я бы не предпринял этого, но вот факт — это чувство у меня есть.

— А у меня, знаешь, какое?

— Скажи.

— Чем больше мусору вывезешь, воздух чище. Когда ты сказал, что провокаторы, шпики — все это слуги Михаила Романова, ты меня так взвинтил, что я буду их бить, как холерных бацилл, — говорит с мрачной и тихой злобой Жужгов.

— Да, тов. Жужгов, где ты был в каторге? В Александровске?

— Нет, в Акатуе.

— Да, вот если бы ты в Орле побывал, то у тебя злости этой было бы в сто раз больше.

— Да, Орел всем каторгам каторга. И везде, во всех каторгах знают об Орле. Откуда бы ни приходили, а об Орле знают. И знаешь, несладко, о, как несладко во всех централах, но все Орла боятся.

— Я это к тому говорю, тов. Жужгов, что у тебя злости на всю жизнь хватит, любви не мешало бы немного.

— А злость-то моя, это не от любви, что ли? От любви. Это другая сторона любви. Я готов за моих товарищей, за рабочих, за угнетенных всю мою кровь отдать по капле, медленно. И если я буду бить и бью всех поработителей, то это из великой любви к мукам и страданиям тружеников. Без злости, Ильич, революции не сделаешь. Не сделаешь ее и без любви.

— А не довольно ли философствовать, товарищи, вон и лошадей привезли, — говорит Иванченко.

— Ну, и пойдём. Мы с тобой поговорим ещё как-нибудь, а я только хочу узнать сейчас же, почему ты сказал, что я тебя взвинтил, указав, что провокаторы и шпики — это слуги Романова? Ты что, не знал, что ли?

— Знал, как не знал. Очень хорошо все мы знаем, да сказал-то ты очень к месту и кстати, и все, что было у меня внутри против провокаторов и шпиков, выросло в удесятеренной степени против их хозяина — Михаила. Ведь не часто, Ильич, бывает, что царей убивают, и слово твоё очень к месту, и сегодня оно для меня имеет такую силу, как никогда.

— А я, знаешь, как думаю, тов. Жужгов?

— Как?

— Это сегодняшнее дело — начало конца всех Романовых, что есть в РСФСР. Ведь если можно расстрелять Михаила, то тем более можно всех других. И ты увидишь, как полетят головы всех Романовых.

— И это дело, — ласково вставил Иванченко. В это время заходит тов. Марков и говорит:

— Лошади здесь.

Я гляжу на часы и говорю:

— Ну, вот и хорошо. Все идет, как надо. Десять часов. Час почти езды до ЧК, и час на все остальное. Двигаемся.

— О чем это вы так горячо говорили, — спрашивает тов. Марков у Иванченко при выходе из Исполкома.

Иванченко, оглядываясь на меня и кивая в мою сторону, отвечает:

— Ты что, разве не знаешь его? Всегда найдет разговоров на всю Мотовилиху. Даже Жужгова раззадорил, вот до чего интересно.

— Да о чем же говорили, скажи, — раздражась, спрашивает Марков.

— Потом скажу, а сейчас поедём.

— Ну, кто где сядет?

— Тов. Мясников со мной, — кричит Колпащиков.

— Нет, я хочу с Жужговым, мне с ним поговорить отдельно надо. Мы вдвоем, а вы втроем. Мы вперед, а вы за нами.

— А где поедём? — спрашивает Жужгов.

— Горками, — отвечаю я. — Ты чего же, тов. Жужгов, на козлы громоздишься?

— Да, а то как же? Править-то лошадей оттуда неудобно.

— А я с тобой поговорить хотел.

— И поговорим. Вот подожди, лошадь обойдется малость, и

поговорим. Я тоже один вопрос к тебе имею.

— Трогай, т. Жужгов.

Я в глубине экипажа, затянутого сверху, на хороших мягких рессорах и пружинах сиденья мягко колышусь из стороны в сторону. Сильная лошадь спорой рысью добежала до подъема на Горки, и Жужгов, пустив ее шагом, оборачивается ко мне и спрашивает:

— Ты сказал, что сегодняшнее дело есть начало конца всех Романовых, что есть в РСФСР. Как это надо понимать? Ведь мы официально не расстреливаем Михаила, а он бежит, значит, никто же не будет знать, что он расстрелян, и не будет расстреливать Романовых. Растолкуй-ка мне.

— Это просто. Возьмем, например, Алапаиху. Там много князей.^[63] Услышат они, что Михаил бежал, и одни решили, что его пристрелили и объявили, что он бежал, а другие поверили, но и те и другие согласны с тем, что князей беречь дальше не стоит, и истребят. Николая же с семьей можно расстрелять по суду, официально. Так, наверно, и будет. А мы с вами убираем психологическое препятствие к этому истреблению. А теперь вот что, тов. Жужгов, когда ты войдешь к Михаилу и покажешь мандат, много не разговаривай, а скажи, что ты имеешь приказ, который выполнишь во что бы то ни стало. Дай понять, что разговоры бесполезны. Чем больше будешь разговаривать, тем хуже и канительнее будет.

— Разговаривать мне не о чем, ни с Михаилом, ни с его холуями. Ты, Ильич, не беспокойся, я сделаю, как ты сказал.

— Ты знаешь, порядки у них там царские: его величество величают Михаила-то, вот ведь пакость-то. А когда я пришел в ЧК, они почему-то сразу узнали, и у них тревога какая-то была. Очень часто произносили мое имя и много разговаривали. Еще больше тревоги стало, когда я его вызвал в ЧК. И они теперь спокойны: меня в ЧК нет. Вот узнать бы, через кого они у нас действуют в губернской головке? Дело нечистое, Жужгов, скверное. Какая-то пакость у нас есть.

— К нам нетрудно пробраться. Стоит только сказать, что в 1905 году принимал участие в движении, привести двух свидетелей — и дело в шляпе. А ведь в 1905 году он был революционером, а после он стал реакционером, а на всякий случай пролез к нам в партию, ну и пакостит вволю. Много больно у нас интеллигенции большевистской сразу появилось. Откуда она? Где она была, когда кандалы надо было носить, а не чины? Не бойся, в 1908 году ни одной души в организации не было, — злобно и какими-то обрывками кидает свои мысли с козел Жужгов.

Я думаю: странно, что ни думающий рабочий, то интеллигенцию недолюбливает. Вот Гриша утром, а Жужгов вечером, оба говорят одно и то же. Почему бы не повернуть на кого-нибудь из рабочих его подозрения? Нет, не повертывает, а повертывает прямехонько против интеллигенции. Я спрашиваю:

— А ты почему думаешь, что если пакость, то обязательно интеллигент: Митька-то Бажин рабочий ведь, Двойнишников^[64] — тоже рабочий.

— В семье не без урода, Ильич, а только одно надо знать, что если бы интеллигентам взять наши тяготы, то их ни одного бы в организации не осталось. Двойнишников имел четырех детей и получил 15 лет каторги, да еще открывалось дело, виселицей пахло, вот и согласился. Не оправдываю, а растолковываю. Если бы оправдывал, я бы его не расстрелял, а то ведь я его из своего браунинга пристрелил. Другое дело: рабочему труднее стать пакостником — к привольной сладкой жизни он не привык, а тяжелее-то его жизни трудно изобрести: нечем напугать. Вот и держатся одной стороны. Если провокаторы, шпики среди рабочих — исключение, то среди интеллигенции — скорее, обратное: честный революционер — исключение, в виде белой вороны: вот почему я и думаю, если пакостит, то скорее всего интеллигент.

Пока мы разговаривали, наша вороная ходко взбиралась на извилистую гору. Вот и Заивы конец. Поднялись. Начинаются мотовилихинские Горки. По левую руку — поля, кое-где утыканные кустарниками, а по правую сторону, над самым обрывом — домишки рабочих. Вот там, в дали полей черные пятна — это «ямки», а на этих ямках кустарники елок и сосны. Часто эти «ямки» служили местом нелегальных собраний. Часто они видели подкрадывающихся полицейских и жандармов и нередко вырывающихся из-под горы и скачущих во всю прыть казаков. Бывало, что схватывали добычу, но редко. Поглядел туда, мелькнули эти мысли в голове, и тут же встали рядом с мыслями о деле, на которое еду. Кричу взявшему вожжи и развивающему ход воронка Жужгову:

— Жужгов, знаешь «ямки»?

Он не повертывается и, не изменяя хода лошади, бросает:

— А то как же?

— Попробуй подумать о Романовых в эпоху «ямок» и теперь. Опять поворот и кричит:

— Да, круто ворочается. Очень крутенько. Не только троны и короны, но и головы вздергивает. Износилась телега: триста с лишком лет ей. А повороты все круче, а гонка все сильнее, ну, и поломка.

Прямо из-под сиденья образы выхватывает! Мы подъезжаем к речке Ягошихе, глубоко-глубоко зарывшейся в овраге. Спуск и подъем очень опасны, крутые повороты, извилистая лента крутой горы, без всякой изгороди над пропастью, а лошадь несет во всю рысь, и если не остановить, то сломается не только плохая телега, но и новая, и не только телега, но и не уцелеют головы седоков.

И Ягошиха тоже... Она в этом месте разделяет новое и старое кладбище и губернскую тюрьму. Вот там видно через деревянный забор старого кладбища ложбину. В этой ложбине в 1906 году было собрание Пермского Комитета партии. Был здесь Свердлов, Бабенцев,^[65] Трофимов, Герой и я. Обсуждали один вопрос: об организации экспроприации денег. Постановили: сделать эту экспроприацию. План наметили. Людей и время. Это было уже после объединительного съезда РСДРП, где было принято постановление о прекращении экспроприации.

Так что среди нарушителей съездовских постановлений об экспроприациях и партизанской борьбе, мы можем видеть не отдельных лиц, а целые организации, и это надо отнести не только на счет Урала, и особенно Мотовилихи, но и Кавказа и Закавказья. Если на Кавказе, в этой экспроприаторской, азартной и смертельной борьбе можно было заметить фигуры Сталина и Орджоникидзе, то на Урале — фигуры Свердлова и Преображенского. И только близорукие доктринеры и чиновники от революции вроде Троцкого могут бросать упрек тому или иному действовавшему лицу, не понимая и не желая понять специфической исторической обстановки этой борьбы.

А вот в этой тюрьме, что через овраг от кладбища, через месяц примерно был уместен весь состав Комитета, и много сверх того, всего 54 товарища. А кроме того и вся группа экспроприаторов. Провокация. Провокаторы недавно были расстреляны. А теперь очередь за главой провокаторов.

Эти провокаторы послали много людей, чистых, светлых, стоических и жертвенным огнем горевших, послали на виселицу, и вон там, под конюшней тюрьмы были открыты трупы.

Повесили. Но боялись вывозить за ограду тюрьмы. И под конюшней схоронили.

Да, среди тех, кто мог туда попасть, под конюшню, были и Жужгов, и Иванченко, и я. Случайности. И прихоть ли истории, случай ли злой, но вот мы едем снять голову Михаилу II и последнему. Нам не сняли, так мы снимем. Злая усмешка истории.

Проезжая мимо тюрьмы, вижу, что окна увеличены уже не меньше, чем в два раза. Свету и воздуху больше, значит. Да, очень хорошо бы, чтобы их совсем не было. Хорошо-то хорошо, а куда

ты едешь? Убивать. Лучше сначала прекратить убийства, а потом разрушить тюрьмы. Это придет. Надо, чтобы пришло. И не может не прийти. Победа труда уничтожит гнет, эксплуатацию, насилие, уничтожит. Надо бороться.

— Жужгов.

— Что, т.Мясников?

— Узнаешь?

Не оглядываясь, отвечает верно:

— Ну, как же?

Знает, что о тюрьме говорю.

— Не могу я, Ильич, хладнокровно глядеть на тюрьмы: уничтожить бы их скорее. Погляжу я, и у меня все внутри занает, застонет. Сердце щемить начнет.

Слушаю и думаю: думает, как я. Интересно. А сумеет ли увязать с тем делом, на которое мы едем? Жду, потому и молчу.

— Да, надо бы. Если мы их не уничтожим, то кто же это сможет сделать? Никто ведь, Ильич, — оборачиваясь и беспокойно ерзая, спрашивает Жужгов.

Я молчу и жду. А он, выезжая на гору и подбирая вожжи, трогает лошадь, и это движение ему напомнило, куда мы едем, и он, еще беспокойнее и поспешнее оборачиваясь, зло бросает:

— А сначала всех их уничтожим, а потом тюрьмы. — И натягивает вожжи на большую рысь.

Звучно в тихой ночи топают копыта сильной лошади. Она верит в силу ног своих, властно рвет куски пространства, дерзко топчет землю. Уверен и Жужгов. Вижу я по его сутуловатой спине. Очень уверен. Уверен и я. И мы втроем несемся по Покровской и, живо домахавши до Сибирской, поворачиваем направо и, проехавши квартал вниз к Каме, останавливаемся на углу ЧК. Только остановились и успели сойти, как подъезжают и трое остальных. Разгоряченные лошади беспокойно топчутся на месте, мотая головами, выдергивая вожжи, прядут ушами, оглядываясь по сторонам. Они культурны. Они пугают, что, вот, пусти и удерем. Нет, это неправда, их можно оставить непривязанными, и они сразу присмирят и покорно будут ожидать. Но я говорю, чтобы завели их на время во двор: с глаз долой.

— Товарищи, вы войдете все со мной в помещение ЧК. Там мы нахлопаем мандат и выждем время.

**56. Неожиданная помеха: Предисполкома Сорокин и
Предгубчека Малков**

Все молча соглашаются. Я поворачиваюсь и иду к входу. У

входа стоит красногвардеец, мотовилихинец, и, увидевши меня, улыбается и здоровается:

— Что это так поздно к нам в гости, тов. Мясников? Никого в ЧК нет. Все давным-давно разошлись.

— Здравствуйте, — протягивая руку, говорю я. — Почему вы думаете, что кроме вас мне еще кто-то нужен? Мне так и вас одного достаточно.

Он, улыбаясь, отшучивается:

— А мне думается, что маловато. Если бы достаточно было, то не привезли бы с собой четверых.

Я гляжу ему в глаза, довольный его ответом, и продолжаю:

— Эти четверо мои, а от вас мне вас достаточно.

— А мы что — не ваши?

— Мои, это точно, но не такие, как эти. Эти, знаете, каждый столько несет тягот на себе, что если понемногу разложить, то на все ЧК хватит.

Он молодой и знает мало товарищей, а потому внимательно оглядывает всех и говорит:

— Я, тов. Мясников, не виноват, что поздно родился и не мог принять своей доли тягот на свои плечи. Я не трус, и тягот не боюсь, и товарищей, вынесших на себе за всех нас эти тяготы, я люблю больше, чем мать, отца и себя. Я умею ценить, хоть и молодой.

Вижу, что правду говорит, и чувствую, что он понял меня себе в укор, а я доволен им, что он молодой, а приткий и умный.

— Вы что же это? В укор себе мое словцо взяли?

— А то как же?

— Ну, я этого не хотел сказать, а как-то сказалось неловко. А все это вид тюрьмы наделал. Ну, скоро они там с лошадьми? — обращаюсь я к Иванченко. — Что они там делают?

Марков подскочил к воротам и глядит во двор, а потом, поворачиваясь ко мне, говорит: «Идут».

— Ну, шагаем, товарищи, — говорю я, обращаясь ко всем. И один за другим скрываемся в дверях. Заходим в один из кабинетов. Я говорю:

— Ну, так вот что. Я поищу в отделе печать. Сейчас возьмем машинку и нахлопаем мандат.

Осветил все комнаты и разыскал, что надо. Я не умею писать на машинке и говорю:

— Кто умеет?

— Я, — отвечает Марков.

— Я напишу тебе черновик.

Вынимаю из кармана блокнот и пишу: «Ввиду приближения фронта, настоящим поручается тов. Николаю Жужгову

эвакуировать гражданина Михаила Романова в глубь России. Подписи председателя, заведующего отделом по борьбе с контрреволюцией. Секретарь». Я расписываюсь за председателя, Марков — за заведующего] отд[елом], а Колпащиков за секретаря.

Написал черновик и даю Маркову. Он усаживается и начинает хлопать. Но так тихо, что мне кажется — я могу быстрее его, и это меня немного раздражает. Но мы полуокружив его, стоим, внимательно наблюдаем за убийственно неуклюжими движениями его пальцев, и в это время совершенно никем не замеченные входят и тихо-тихо подкрадываются на цыпочках (желая подшутить) два председателя: председатель Губернского Исполнительного Комитета — Сорокин, и председатель ЧК — Малков. Но когда они приблизились и сразу схватили суть оканчиваемого печатанием мандата, они от неожиданности растерялись, и когда я оборотился и увидел их и понял, что они уже прочитали мандат и знают, зачем мы здесь, и заметил их растерянно-испуганный вид, я сразу подумал — непредвиденное затруднение. Быстро заработала мысль. Первое, что толкнулось в голову: арестовать. Но вспомнил, что у меня всего четыре человека и может их не хватить. Я решил, что они добровольно арестуются, если я скажу, и говорю: — Вот что, товарищи Сорокин и Малков, мы сейчас отсюда уходим, а вы должны остаться здесь и не выходить отсюда в течение двадцати минут. Не выходить, несмотря ни на что: будут ли выстрелы, будут ли вызовы по телефону — вас здесь нет, вы ничего не видели и не знаете. Поняли? После двадцати минут вы свободны. Дадите ли мне слово, что вы исполните мои требования?

Вид их был необычайно растерянный; и тот и другой — бледный-бледный. Видно было, что они нервничали. Но я себя не видал, и не знаю, какой вид был у меня. (Потом мне рассказал кое-что тов. Иванченко). Но было, должно быть, у меня на лице и в фигуре достаточно решительности, что оба председателя без всякого промедления и размышления дали мне свое слово.

Я обращаюсь к Иванченко и Колпащикову и говорю:

— Выводите лошадей, мы едем.

Это было без пятнадцати минут 12 часов 3 июня 1918 года.

[66]

Я кивнул головой Маркову и Жужгову, направился к выходу, еще раз поглядев в глаза Сорокину и Малкову, чтобы удостовериться, что они исполнят требование.

Жужгов взял мандат и согнул его вчетверо, сунув в карман, и направился вслед за мной вместе с поднявшимся от машинки Марковым.

Лица у Иванченки с Колпащиковым и у Маркова с Жужговым были так спокойны и решительны, что мои распоряжения двум председателям не только их не удивили, а поняты были, как очень нормальное и естественное: они не знали иного, они не могли представить, что мои распоряжения можно было бы не выполнить. И этот их вид, должно быть, тоже кое-что рассказал Сорокину и Малкову.

Сорокин — инженер-химик, член партии с 1909 года. Большую часть своей партийной принадлежности был в эмиграции. По приезде из-за границы работал в заводе Мотовилихи, сначала как инженер, а потом как член Заводского Комитета, а потом мы его выдвинули в председатели Губисполкома.

Малков — рабочий столярного цеха Мотовилихинского завода, член партии с 1915 года.

Тот и другой знают меня, а потому, будучи выдвиженцами от Мотовилихи, они беспрекословно подчинились моим распоряжениям. Это — сторона формально-историческая. А Иванченко мне рассказал еще и о психологической. Но это потом. Говорю о Малкове и Сорокине эти немногие слова, чтобы поняли, как эти два самые высокие по занимаемым постам советских работника беспрекословно подчиняются распоряжениям человека, который формально ни в каких чинах не состоит (если не считать, что я член ВЦИКа).

Не подчиниться они в этот момент ни психологически, ни фактически не могли. Они должны были подчиниться.

57. Едем в Королевские номера и забираем Михаила, его секретаря лорда Джонсона

Товарищи видят, что мне неприятна эта встреча. Видят, что я стал резче, круче и обрывистее. И Жужгов первый сказал: «Вот принес их черт», — как бы желая дать понять мне, что он меня понимает и мои чувства разделяет.

Лошади были поданы. Иванченко и Колпащиков сидели на козлах. Я сажусь на переднюю к Иванченко с Жужговым, а Марков к Колпащикову, и мы двигаем.

Повертываем на Сибирскую и вниз к Каме. Это совсем близко, в одном квартале. И мы подкатали вмиг.^[67]

Я схожу и говорю:

— Тов. Иванченко и Колпащиков, заворотите лошадей.

Они завернули, поставив их головами в город.

— Тов. Жужгов, иди. Помни, меньше разговаривай! Тов.

Парков, иди на лестницу и наблюдай. Тов. Колпашиков, встань (дверях. Тов. Иванченко, останься на козлах пока.

Все заняли свои места. Через минуту или две Марков передает: двери открыли и разговаривают с Жужговым, и потом: Жужгов показал мандат и заявил еще устно, что ему поручено эвакуировать гражданина Михаила Романова подальше от фронта.

Михаил, поглядевши на секретаря и что-то спросивши по-английски, ехать отказывается и требует, чтобы ему разрешили говорить с ЧК по телефону. Марков передает: ехать отказывается, хочет говорить по телефону. Жужгов спрашивает, что делать.

— Говорить не давать. Брать силой. Передай Маркову, пусть идет на помощь. Ты, Колпашиков, вместо Маркова. Иванченко, ходи с козел, встань на место Колпашикова.

Колпашиков передает: Жужгов говорит, если не пойдете, то мы применим оружие. Жужгов и Марков вынули браунинги.

Джонсон что-то сказал по-английски, а затем говорит по-русски: «Я еду вместе с Михаилом Александровичем».

Жужгов отвечает: «Сейчас вас взять не можем. После, вместе со всеми остальными и с вещами приедете к месту назначения».

Джонсон настаивает. Его поддерживает Михаил, говоря:

Я не могу ехать один».

Все остальные не проронили ни слова, застыли в безмолвии. только женщина, пользуясь сутолокой, выходит в коридор и хочет звонить. Ее увидел Колпашиков и остановил: «Гражданка, отойдите от телефона и идите в комнаты», — и кажет браунинг.

Она не ожидала и, вздрогнув, поспешно прячется в комнату.

Ни Михаил, ни Джонсон не уступают, хотят ехать вместе. Мне передают и спрашивают, как быть.

— Спускайте обоих, скорей.

Ведут. Отхожу от крыльца. Говорю:

— На переднюю Колпашиков на козлы, Жужгов с Михаилом. На задней — Марков на козлы, Иванченко с Джонсоном. [68]

Но вот подходит Михаил к экипажу и падает в обморок. Колпашиков подсакивает ко мне и шепчет, волнуясь, — Михаил в обморок упал. Вижу — все растерялись и не знают, что делать, минута замечательная. Люди, которые готовы зубами перегрызть горло Михаилу, эти люди от непредвиденного пустяка растерялись, замешались. Что это? Несомненно, необычайная нервная натянутость. Перегруженность. Весь израсходовался, тут еще какой-то комок помех. И замешался.

Вижу это и зло отвечаю:

— Сади, не на свадьбу везешь.

И как хлыстом ударил: сразу пришли в себя и энергично

подняли и сады. Но и Михаил почувствовал, что обморок не помогает, и безвольно рухнулся на сиденье. Уселся.

Джонсон наблюдал, и как только уселся Михаил, Иванченко тихо приглашает его в экипаж, и они усаживаются.

— Двигай! Я вас догоню. Если не догоню, ждать меня в Мотовилихе, — говорю я.^[69]

58. Еще раз два председателя

Джонсон мне испортил дело, занял мое место, и я поневоле остался.

Но только тронулись лошади и повернули за сквер, что посреди улицы, я вижу, что два председателя несутся во всю прыть: бегут бегом из ЧК к Королевской гостинице. В то же время женщина появляется на балконе и смотрит на меня. Я вижу председателей и спешу к ним навстречу и спрашиваю:

— В чем дело? Куда так бежите?

Они, запыхавшись, отвечают:

— От Михаила Романова звонили.

— Ну и что же? Вы что, у Михаила Романова на побегушках? Во всякое время дня и ночи по первому зову являетесь? И так бежите? Пойдемте со мной.

Они покорно поворачивают, и я их завожу в правление милицией; в административное правление, что рядом с Королевскими номерами, в бывшей уездной земской управе. Начальником этого управления мотовилихинский рабочий — Василий Дрокин.^[70] Он еще у себя в управлении и собирается ночевать в кабинете.

Я его зову и говорю:

— Распорядись немедленно запрячь твоего рысака. Едем в Мотовилиху. Ты со мной, кучера не надо.

Он поворачивается к милиционеру и отдает распоряжение. Милиционер пулей проносится вниз по лестнице мимо нас, а я вдогонку:

— Скорей, как можно скорей, товарищ. Он слетает с лестницы.

— Товарищ Дрокин, где можно поговорить, чтобы нас никто не слышал?

— У меня в кабинете.

Я поворачиваюсь к Сорокину и Малкову, киваю на кабинет и говорю:

— Пойдемте.

Заходим. Все стоим около стола. Никто не садится. Я

опираюсь рукой на стол, в полоборота к Сорокину и Малкову, говорю:

— Вы понимаете, товарищи, что выявились невольными свидетелями...

В это время заходит Дрокин и, увидев, что я остановился, спрашивает:

Тов. Мясников, мне можно?

— Зайди, — бросаю я. Я начинаю вновь:

— Вы понимаете, что вы явились невольными свидетелями дела, которое ни видеть, ни знать вам было нельзя. Но вы увидели. И потому вы явились невольными соучастниками. Но если это так, а это так, то условие для участия в деле одно для всех:

крепко держать язык, иначе откушу, или заставлю откусить и выплюнуть. Это для всех. И для меня, и для тех, что уехали, и для тех, что здесь. Принимаете вы это условие?

— Ну, конечно, тов. Мясников, — отвечает Сорокин своим обычным глуховатым, слабым голосом.

— Ну, а теперь дело так обстоит. Если бы вы не увидели и не узнали, что Михаила «бежали» мы, а узнали об его исчезновении завтра, то что бы вы сделали с оставшимися?

— Арестовали бы, — отвечают оба враз.

— Ну, так и делайте. Арестуйте. А дальше? Арестуете, а за что же вы их арестуете?

— За содействие побегу Михаила, — говорит Сорокин.

— И его секретаря, — добавляю я. — Так. Это верно. Ну, а если бы они вам сказали, что они никакого участия в этом не принимали (имейте в виду, что вы не знали, что я их «убежал»), то вы им поверили бы?

— Нет, конечно.

— Так. Правильно. Значит, вы признали бы их виновными и...

— И расстреляли бы, — добавляет пришедший в себя Малков.

— Так и делайте. Арестуйте всех. Предъявите обвинение в содействии к побегу и всех их расстреляйте, в том числе и жандармского полковника Знамеровского, что в тюрьме.

— Хорошо.

— Ну, хорошего тут мало, положим, но делать это надо быстро» точно и без болтовни. А по всем телеграфным, телефонным линиям дайте знать: Михаил Романов и его секретарь Джонсон бежали в ночь с такого-то на такое-то.^[71] И это все. Ну, товарищ Дрокин, лошадь.

— Сейчас узнаю, — бросает и выбегает из кабинета.

— Вы, товарищи, идите и действуйте.

— Сейчас же начинать? — спрашивает Сорокин.

— Да, сейчас же, немедленно.

— Ну так, до свиданья.

Торопливо подают мне руки и спешно уходят. А в дверях сталкиваются с Дрокиным, который через головы их кричит:

— Готово, тов. Мясников.

Я выхожу вслед за ними и говорю Дрокину:

— Ты смотри на этих двух председателей. Срам ведь прямо. Дают слово, что они не выйдут в течение двадцати минут, и вот стоило звякнуть кому-то от Михаила, как они бросаются со всех ног бегом.

— Да, слабые они.

И в это же время я случайно гляжу на часы, и оказывается время — час. Значит, думаю, они свои двадцать минут отсидели. Это мы канителились больше, чем полчаса, и Дрокину говорю:

— Нет, я не прав, время уже час, они свои двадцать минут отсидели, и они уже были свободны, но все-таки, что это за манера, бегом бегут два председателя по первому звонку от Михаила. А в это время женщина с балкона наблюдает и видит их бегущих и думает: «Вот мы как вас гоняем». Противно ведь, Дрокин.

59. Я еду догонять

— Ты что, на козлы?

— Да, так скорее догоним. Она на вожжах ходит.

— Двигай и не жалея. Надо догнать. Он садится на козлы, подбирает вожжи и кричит милиционеру:

— Распахивай живей.

Милиционер распахивает ворота, а лошадь, как бешеная, выносит со двора. Дрокин поворачивается и, хохоча, говорит:

— Вот всегда так, как только я сажусь на козлы, а не кучер, то бешеная делается и летит со двора, как каленым железом прижатая, а потом ничего, идет ровно.

— Ну, Вася, двигай, после расскажешь.

Он садится половчей и забирает на всю рысь. Гнедой конь ночью кажется вороным, крупный, вытягивается все больше и больше и молодежато бросает искры из-под подков, режет воздух. Быстро доезжаем до тюрьмы. Я вижу по ту сторону Ягошихи, на самой вершине, вылезши из-под горы, виднеются два экипажа. Видит их и Дрокин. А белесоватая июньская пермская ночь то и дело преображает эти два экипажа в самые причудливые фигуры. Но мы-то наверное знаем, что это они, нас-то не обманешь.

Дрокин, оборачиваясь, спрашивает:

— Видишь, тов. Мясников?

— Вижу, — отвечаю я. И спрашиваю:

— Думаешь, что мы их догоним до Мотовилихи?

— Конечно, — отвечает он.

— Нет, ты ошибся. Они самую трудную дорогу проехали, а мы ее только начинаем, и пока мы спускаемся и поднимаемся, они будут в Мотовилихе. У них тоже хорошие лошади.

— Ну, не такие, как моя, — отвечает Дрокин. :

— Ты любишь ее, видать.

— Очень.

— Это хорошо.

— Ты знаешь, я сегодня остался ночевать в кабинете и не поехал домой в Мотовилиху, потому что ей овса мало досталось, и я не хотел ее гнать поэтому: а ведь дело всегда найдется. И хорошо вышло. Понадобился я тебе и с лошадью. Я доволен и лошадь довольна: видишь, как легко спускается с горы? Танцует, шельма.

— Почему ты доволен?

— Да потому, что я являюсь участником в деле, о котором знают всего-навсего 8 человек во всей России и во всем мире. И это приятно, знаешь. Когда знаешь, что весь мир хочет это знать и не может, а ты знаешь, да не скажешь. Это сила. И это хорошо.

— Да ты тоже случайно узнал.

— А мне нравится, как ты с нами в моем кабинете разговаривал. Ты был какой-то особенный. Я тебя таким, кажется, и не видел.

— Что же особенного во мне было? Мне кажется, что как всегда.

— Ну, нет, нет. Я не знаю, что, и сказать не могу, но была в тебе какая-то сила, и она всю твою наружность преобразила.

— А, может быть, другое.

— А что?

— Что вы все трое были нервно неуравновешенные, психологически к этому неподготовленные, и все, что касалось события, в которое вы невольно вошли, вам начало казаться каким-то особенным. большим, значительным, а в том числе и я. И это вернее.

— Ну нет, это не так. Ты нас за каких-то безвольных, нервных особ считаешь. Нет. Одно то, что я способен был наблюдать за тобой и мыслить о том, что в тебе что-то есть особенное сегодня, доказывает, что прав я, а не ты.

— Но ты не будешь отрицать, что ты, как Сорокин и Малков, вошел в комнату и увидел там совершенно неожиданное.

— Да.

— Ну так не были вы, значит, к этому подготовлены?

— Нет.

— Вот тебе и основа особенного восприятия событий. А так как события текли быстро и не давали время оторвать ваши глаза от него, то в таком состоянии пребывали все время: до конца моего разговора.

— Ну, а все-таки ты сильно сказал: условие одно для всех: крепко держать язык за зубами, а то откушу. Я почувствовал, что это правда. Что это так есть и так будет. И видел я, что Сорокин и Малков чувствуют, как я. И потому они без рассуждений исполняли и исполняют все, что ты сказал, как это делаю и я.

— У вас выбора нет.

— Да ведь ты нас поставил в такое положение. В этом-то и есть твоя сила: если зашел к тебе в комнату, то потерял свою волю. Вот ведь что это значит. А еще главное в том, что сознаю я это, а мне несколько не досадно, и как я уже сказал — даже приятно быть с тобой в комнате и исполнять веление твоей воли. В этом и штука, секрет того, чем ты являешься для нас сегодня.

— А ты знаешь, Вася, любишь же немножечко поковыряться у себя в белье: вшей поискать, т.е. поразмыслить, установить причины недостатков и достоинств — найти-таки вошь, которая тебя кусает.

— Люблю, Ильич. Очень люблю. Время только нет. А это очень интересно: наблюдать и видеть, и понимать, когда другие и не видят и не понимают.

Пока мы говорили, наш рысак, танцующий и изощряющийся в приемах, как бы задержать напираний на него экипаж, пустил нас к мосту, и мы стали подниматься в гору.

Ночь мягкая, тихая и легкая. Хорошо в такую ночь спать на сене, на открытом воздухе, в поле, и, может быть, и хорошо и делать дела, требующие нервного напряжения: одна минута, один миг безумной ласки этой ночи восстанавливает все силы.

Лошадь в гору берет быстрее, чем под гору. Она горячится, Дрокин ее сдерживает. Бережет для ровного места. И она поняла и пошла ровно.

— Я, знаешь, тов. Мясников, думаю все о том же, да только с другого бока подхожу: если бы ты, скажем, вчера внес предложение на заседании Губкома или Губисполкома покончить с Михаилом, то наверняка можно сказать, что и Сорокин и Малков были бы против, так как есть прямые предписания центра. И вот это-то и самое интересное: они были бы против, как и все ответственные работники, но сегодня, когда они вдруг оказались в твоей комнате, они сразу стали безвольными и

делали совершенно противоположное тому, что они до этой минуты думали. В этом-то весь гвоздь Я не думаю совсем, что они испугались тебя: что им бояться? Ты был один, а их двое, да я еще третий, а милиционер четвертый, юридически они — власть, а ты нет. Формально на их стороне вся сила государственного аппарата и авторитеты партии в лице Свердлова и Ленина, а ты пренебрег всеми традициями и восстал, и они покорно делали то, что хочешь ты. Это Достоевский и то не разрешит: вот почему я продолжаю настаивать, что у тебя вид был необычный. Пусть мы все трое были неподготовлены психологически, воспринимали острее обыкновенного, пусть. Но это только одна сторона созданного тобою же нашего психологического состояния, а другая сторона — это ты в этот момент. И мне кажется, если бы ты дал нам по револьверу и сказал: я не хочу, чтобы кроме нас, четверых, знал кто-нибудь, что мы расстреляли Михаила, и потому вот вам револьверы, стреляйте. Я думаю, что мы застрелились бы. Вот ведь штука-то в чем.

— А знаешь, если это правда, то это происходило потому, что все вы чувствовали фактическую правду, истинность моего действия, но у вас не хватало ни смелости, ни идейного дерзания пойти против авторитета всей партии, авторитета всей революции, но когда я на деле перешагнул эту черту, то вы поняли, что иначе и быть не может с Поняли не умом, а всем своим существом, каждой клеткой вашего «я», при протесте формального мышления, и когда я говорил, то это был не только мой голос, но и ваш голос, голос вашего «я», и потому он был так повелительно и всевластно могуч, что вы могли бы убить себя по приказанию безоружного человека. Так я это объясняю. И это объяснение, если его понять, как нужно и должно будет объяснить дальнейшее событие. уничтожение всех Романовых. Я убрал не только формальное препятствие в виде предписаний, но и психологическое препятствие у всех товарищей. После этого, как бы ни поняли исчезновение Михаила, но всем Романовым — крышка. Я уже говорил это Жужгову.

— А ведь это правда, Ильич, а я-то думал, что тут и Достоевскому не разрешить этой психологической задачи. Вот оно как. Просто и ясно. Я чувствую, что ты прав. А знаешь, почему? Потому что, если бы вчера ты внес предложение об уничтожении Михаила, то при наличии предписаний Ленина и Свердлова, я был бы в нерешительности, но ты эти предписания уничтожил, перешагнул через них, и я вижу, что я делаю то, что ты скажешь, но делаю, как свое, мне родное дело: выполняю веление моей совести. А ты не дурак, Ильич. Достоевский и то запутался бы, а ты вон как простенько раскидываешь весь мусор

над правдой.

— Что не дурак, я это знаю, ну а в Достоевские не гожусь.

— А теперь интересна вторая часть твоего объяснения. Если ты действительно прав и действительно убираешь и формальные и психологические препятствия к уничтожению всех Романовых, то ведь это должно произойти скоро. И неужели ты прав? Если ты прав, то какими путями ты доходишь до такого предвидения? Ведь это похоже на предсказание астрологов, это очень интересно, Ильич.

— Я вижу, что ты немножечко взвинченный, но тем лучше для меня, потому что ты мне теперь правду скажешь. Значит, когда я вам говорил, что надо делать так-то и так-то, у вас не возникало вопросов: а целесообразно ли, нужно ли, а если нужно, то так ли?

— У меня нет. И думаю, что тем более они не могли возникнуть ни у Сорокина, ни у Малкова. Ну, держись, Ильич, я беру вожжи, выехали, — и с этими словами он отворачивается от меня и натягивает вожжи, и гнедой забирает на рысь.

Неровная грунтовая дорога подкидывает местами экипаж, но она укатана и, в общем, сносная. Быстро мелькает изгородь полевая, цокают подковы, вылетают из-под ног искры и мягко колышется экипаж. Едем молча. Приятно обдувает ветерок. От самой Ягошихи до мотовилихинских Горок, до спуска в Мотовилиху мы едем полной рысью. И [Дрокин] круто осаживает гнедого около спуска, а потом оборачивается и спрашивает:

— Доволен? Ведь это красота, а не лошадь. Такой громадный экипаж и с двоими седоками, а она идет такой рысью около трех верст.

— Да, лошадь хорошая, а мы все-таки их не догнали. Значит, прав я.

— Да, это верно.

Спустились с горы на Большую улицу и видим на дороге около милиции два экипажа. «Ага, это они, ожидают», — мелькает в голове.

60. Они меня ожидают в Мотовилихе

Подъезжаем рысью. Я соскакиваю, и мне навстречу Жужгов. Спрашиваю:

— Долго ждете?

— Нет, только что приехали.

— Хорошо. Значит, за Малую Язовую?

— Да.

— Взяли, что нужно?
— Что?
— Ну, лопаты, топор для могилы.
— Взяли.
— Управитесь одни, или мне ехать с вами?
— Если доверяешь, Ильич, то оставайся здесь и жди. Теперь ведь все просто и несложно, без тебя все сделаем.
— Ну, хорошо. Только одно: все ценности, что на них есть, бросить вместе с ними в могилу. Ничего не брать. Поняли?
— Хорошо, хорошо.
— Другое. Постарайтесь пристрелить врасплах, незаметно. Меньше всяких переживаний: сзади в затылок. А не ехать ли мне?
— Ну что ты поедешь? Неужели мы этого не сделаем?
— Ну, так двигайте. Я вас жду здесь, в милиции. Скорее. Они тронулись. Я поглядел им вслед и пошел в милицию.
Остановился на пороге и еще раз глянул в их сторону, но они уже повернули и исчезли за углом.
— А мне что делать, Ильич? — спрашивает Дрокин.
— Поезжай в город.

61. Они уехали. Я ожидаю

Звоню в ЧК:
— Кто у телефона?
— Я — Малков. А это ты, т. Мясников?
— Да, я. Ну что, как дела?
— Все делаем, как надо. Подняты все на ноги. Наряжена погоня во все концы. Даны телеграммы и телефонограммы. Идет допрос арестованных. Допрашивают следователи. Ни я, ни Сорокин в допросах не принимаем участия, но, разумеется, мы в курсе всего хода следствия. Думаю, что завтра все будет кончено.
— Ну, пока, — и кладу трубку.
Усаживаюсь в глубокое кресло и пристраиваюсь, располагаясь поудобнее, чтобы ждать возвращения товарищей. Уселся. Думаю: «Кончено». Правда, не все так вышло, как предполагалось, но тем не менее кончено. Свершилось. История Романовых написана до последней строчки. Я тоже написал в этой истории несколько строк. Это и все.
Мое участие, конечно, историческая случайность, но конец истории дома Романовых — это не случайность, а исторически закономерное явление. Это должно было случиться. Что Романовым пришлось круче, чем королям Франции, Англии и т.д., то это по той простой причине, что у нас буржуазная

революция марта 1917 года, принеся низвержение царизма, в течение шести месяцев переросла в революцию пролетарскую, в социалистическую.

В революцию самих угнетенных и эксплуатируемых веками масс. И Романовым приходится иметь дело с нами, рабочими и крестьянами, с классами наиболее натерпевшимися от всевластия их. И Романовы долгонько засиделись. Им по всем божеским и человеческим законам полагалось уйти с трона в 1861 году. Не ушли. Остались. Дождались время, когда под их царством страна из дворянской и феодальной превратилась в буржуазную в своих господствующих верхах, со всеми варварскими остатками феодализма для эксплуатируемых униженных низов. За это время выросла новая сила — пролетариат, показавший свое искусство справляться с буржуазией, даже в том ее виде, если она носила дворянские шинели. Мы, наиболее решительная армия революции, наиболее радикально расчищаем от исторического хлама феодало-капитализма место для постройки нового дома, дома трудящихся масс, дома Труда.

Конечно, тяжело, и Михаилу, и Джонсону, и всем прочим. Ясно. Они отвечают за дела царственных поколений. Они предпочли бы царствовать, а не умирать. Кому же это не ясно? «Вот дай найду свободу, а он меня в ЧК приглашает». И какая же дубина! А дубиной он кажется на фоне событий дня. Он — сын своего рода: история делалась не народом; создает богатства, трудится, познает природу, совершенствует труд и организм — это не творец истории, а цари — и он последний из них — он дал народу свободу. Это целая философия, но философия архива и музея, но не живая. Философия мертвая, и носители философии умерщвляются.

Если у меня кое-что могло остаться для сомнений и колебаний до того, как я не видел Михаила, то после того, как я его увидел и задал ему этот вопрос и получил ответ, у меня кроме всех теоретических, политических и практических доводов, родилось новое чувство: чувство брезгливости, гадливости к этому идиоту из идиотов, ради которого и из-за которого могут быть пролиты реки крови, и в сотнях тысяч погибающих в борьбе могут быть гении и таланты. И вот, когда я думаю о том, что товарищи скоро возвратятся, убив Михаила и Джонсона, то у меня есть какое-то большое чувство ответственности, но никакого чувства ни соболезнования, ни жалости. Все заперто и крепко. Это, вероятно, потому, что я очень много думал пред тем, как решить вопрос: я все перебрал. И теперь я знаю, что должен был это сделать. Если бы я не знал, что все кончено, и думал, что только надо начинать кончать, то я не чувствовал бы себя иначе,

чем теперь.

Вот теперь уже знают во многих местах, что Михаил бежал, а в это время раздается выстрел из браунинга, и он падает.

Я встал и пошел в Исполком: к себе. У себя всегда лучше: думается лучше. Мысль полнее, стройнее, чувствует себя домашнему.

Светло уже. Скоро должны приехать, иначе неудобно. Могут любопытные видеть и строить всякие предположения.

Курю я папироску за папироской. А заметил я это потому, что сидел недолго, а наклеил окурков на стол очень много и не вижу, куда бы их можно было сбросить, и почему-то очень досадно, что некуда их сбросить. Сделал несколько шагов к двери, а потом с какой-то злостью повернулся и подошел обратно к столу, забрал все окурки и понес их на улицу: как будто я делал это всегда, а на самом деле я этого никогда не делал. Почему-то сегодня вот в этот час я влюбляюсь в чистоту и в аккуратность и раздражаюсь, злюсь, что нет пепельницы и окурки лежат на столе.

Воздух свежий. Дневного жара нет и в помине. Ночи здесь холодные. Утро свежее, бодрое, румяное, это вам не Баку, где земля не успевает остыть к восходу солнца и утро похоже на вяленую рыбу, нет, это Урал и Кама.

Захожу в Исполком. Красногвардейцы спят, и только один дежурный читает книгу. Отрывает глаза от книги и смотрит на меня, улыбаясь, а не удивляется, что я в такое время неурочное хожу: привыкли они видеть меня во всякое время.

— Здравствуйте, товарищ. Дежурный?

— Да, дежурный. Здравствуйте, тов. Мясников. И чтобы не пройти молчком в комнату, спрашиваю: «Ну, как, ничего нет нового, все благополучно?»

— Все, тов. Мясников.

— Спрашивал меня кто-нибудь?

— Нет. Впрочем, подождите, вот записка есть. Из ЧК звонили в 2 ч. 20 минут, вас спрашивали. Я только что вступил, тов. Мясников, в три часа.

— Ну пока. — Прохожу к себе и думаю: было ли это после или раньше моего разговора с Малковым? Кажется, после. Не позвонить ли? Да что им надо? Все ясно. Но позвоню, все-таки надо.

Звоню. Вызываю ЧК.

— Кто у телефона?

— Малков.

— Ты звонил в Исполком?

— Да, я, тов. Мясников. Я хотел спросить, ты не хочешь ни с кем из арестованных разговаривать?

— А зачем это? Разве нужно?

— Нет, просто любопытно, как они все это понимают.

— Ну, а мне очень нелюбопытно. До свиданья.

Я положил трубку и думаю: удивительно, они ведь не обдумывали, надо убить или нет, а спокойнее меня, и даже любопытное находят в рассказах этих закланных. Шутки на уме. Что это? Привычка? Глупость? Или более высокая ступень сознания своей правоты, чем моя, и потому дающая это шутливое настроение. С этими мыслями отправляюсь к себе в комнату. Захожу и сажусь на кровать. Вот они убивают шутя, а вчера, как бешеные, неслись по звонку Михаила. Я убиваю спокойно, но не шутя. Убивать тяжело. И когда убиваешь, не до шуток.

62. Вот и все. Приехали

Стук в дверь. А потом открывается осторожно, показывается красногвардеец и говорит: «Вас тов. Иванченко спрашивает». Я иду и думаю — вот и все. Приехали.

— Ты что же, Ильич, маленьких-то обманываешь? Сказал, в милиции будешь ждать, а глядь, на печку взобрался, — улыбаясь, шутит Иванченко.

— А я только что вошел. Долго вы что-то. А где товарищи?

— В милиции. А Колпашиков и Марков лошадей увели.

— Так. Все благополучно? Никаких приключений?

— Нет. Все в порядке. Да вот сейчас «наш старшой» тебе все расскажет. — «Наш старшой» произносит с добродушной товарищеской иронией.

Мы заходим в милицию, а Жужгов выходит из кладовки и внимательно осматривает руки.

— Ты что там делал, что так руки осматриваешь?

— Да вон белье и одежду с Михаила бросил.

— А зачем ее снимали?

— Да ведь как зачем, вдруг ты не поверишь.

— Ну как же можно допускать такую дичь.

— А почему ты так настойчиво допытывал, справимся ли мы одни?

— Хотел вас узнать: нужен я вам или нет. А затем и подготовить вас, чтобы не было никакой суетни и бестолковщины, вот и все.

— Ну, а мы решили, что ты немного сомневаешься в нас.

— И очень глупо решили. Если бы я сомневался в вас хоть в малейшей степени, то я и не стал бы с вами разговаривать об этом деле, а не только посылать вас одних. Здесь уже поздно было

не доверять и нельзя не доверять. Экий вы народ! Если я сомневался в вас, то не в том, что захотите или не захотите исполнить мое поручение — убить Михаила, а мог сомневаться в ваших способностях сделать без суетни и толкотни — и только.

— Вот видишь, а мы-то побоялись, что у тебя сомнения есть.

— Возьмите пример. Поехали бы вы без меня из Мотовилихи в Пермь- чтобы взять Михаила?

— Конечно, нет. Как бы мы без тебя это сделали? Да еще эти два.

— Кто эти два? — заходят и спрашивают Колпашиков и Марков.

— Стой, не мешай. Эти два преда: не будь ты там, так ведь они нас тут же бы и арестовали. Да если бы и их не было, то как же можно без тебя? Нет, без тебя никак нельзя.

— Вот-вот. Значит, мы думаем одинаково. Если без меня нельзя было поехать в Пермь, то почему без меня можно поехать за Малую Язовую?

— Да потому что здесь уже нужно уметь один раз выстрелить, и всему делу конец. Здесь уже все просто.

— Но ведь, друзья мои, выстрелить нужно в живых людей, а это не очень просто. И вот я спрашивал — справитесь ли.

— А ты на меня, Ильич, не налегай. Мы все тебя немного испугались, и все единогласно решили взять одежду.

— Ну, что сделано, то сделано. Сейчас же ее сжечь.

— А ты взглянуть на нее не хочешь?

— Вот пристал, как вар к шерсти. Ну, что за удовольствие, иди и жги.

Он отправился, а мы расселись и стали его ждать.

— Да, он правду говорит, тов. Мясников, что мы все решили взять «его» одежду. простреленную и окровавленную.

— Да я и не сомневаюсь в том, что он правду говорит, но как же вы все глупо и дрянно поняли меня.

— А это потому, Ильич, что ты сегодня очень страшный, и мы немного в панике около тебя. Да что мы? Ты видел двух председателей — Сорокина и Малкова — они еще хуже нас. Да и было от чего: я тебя, Ильич, никогда таким не видывал, — говорит Иванченко.

— Вот и не ожидал, что я могу действовать так на вас.

— Да я и говорю, что не только на нас. Ты видел, какие были Сорокин и Малков. А отчего это? Что они, тебя в первый раз видят и первый денек знают? А почему они сделались, как воск в тепле, — что хочешь, то и лепишь. А кто-кто, а Сорокин любит показать, что он самое большое начальство в губернии, а тут — ты видел? Он и позабыл, у него и из головы вылетело, что он

председатель Губисполкома. Вот оно как. И это неспроста. Вот тебя бы тут снять, да тебе же карточку показать — ты бы себя не узнал.

— Ну, довольно об этом. Ты расскажи лучше, что Джонсон говорил с тобой за всю дорогу от Королевских номеров до могилы.

— Он молчал почти всю дорогу. Только два раза раскрыл рот, когда мы стали от тюрьмы к Ягошихе спускаться, он спросил: «Насколько я понял, нас хотят отправлять подальше от фронта, а мы едем сейчас, как мне кажется, к фронту».

Я ему говорю: «Вы будьте спокойны. Мы адрес точно знаем, куда надо ехать, и дорогу знаем неплохо, не заблудимся».

— А еще?

— Больше ни слова до самой Мотовилихи. Только когда мы остановились у милиции, он опять спрашивает: «Мы приехали в Мотовилиху?» Я ему говорю: «Да, в Мотовилиху, но вы не выходите, мы едем дальше».

— А он? что же он?

— А он помолчал и спрашивает: «Председатель Мотовилихинского Совета тов. Мясников, кажется?» «Нет, не Мясников, а Обросов», — отвечаю я. «Но может быть, раньше был Мясников?» — «Да, был», — отвечаю. И тотчас же вы подкатили. Больше ни одного звука до самого места.

— А он не поперхнулся, когда меня товарищем назвал?

— Нет, я тоже подумал — вот нашел товарища.

— Кто это? — заходя, спрашивает Жужгов.

— Да вот рассказывать заставляет, что Джонсон говорил.

— А, — буркнул Жужгов.

— Ты покончил с твоим бельем?

— Да, да. Облил керосином, и все до единой ниточки сгорело.

И пепел разметал.

— А ты что расскажешь про своего пассажира?

— Мало что могу. Он и говорил не много, да и говорил как-то картавя очень, не все понять можно. Он долго молчал, и когда мы подымались на гору от Ягошихи и можно было из глубины экипажа разглядеть кладбище, а затем поля, он спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вы имеете приказ правительства?» Я не понял, о каком приказе он говорит, и спросил — какой приказ? «Приказ, чтобы нас везти из Перми», — ответил он. «Да, да, — мы имеем приказ. А как же без приказа. Да вы не беспокойтесь, — говорю я, — у нас бумаги в порядке». — «Это хорошо, я, видите ли, состою в распоряжении правительства, и меня без приказа нельзя беспокоить». — «Да, да, мы знаем. Ведь мы будем отвечать

за вас, если зря побеспокоили. У нас ведь строго: маленький промах — и к стенке». — «Да, да, а то как же», — спешно и с особой уверенностью выпалил он, словно это он велел к стенке поставить. А потом, когда к Мотовилихе подъехали и стали спускаться под гору, он спрашивает: «А вы не можете назвать город, куда меня везут?» Я ему говорю: «Могилев». — «Это далеко отсюда на запад, а почему мы едем в обратную сторону?» — «Потому что мы хотим вас садить в поезд не на людной станции, а на переезде. Да вы не беспокойтесь ни о приказах, ни о местности, мы все сделаем, как нужно».

— А зачем ты ему сказал «Могилев»?

— Чтобы ближе к правде быть.

— А он не испугался?

— Нет, как будто бы.

— Ну, дальше.

— «Да, так и нужно. Вы делайте, как лучше. А вы знаете, что телеграфные приказы от Ленина и Свердлова запрещают меня считать контрреволюционером?» — «А как же, знаем все приказы. А вы разве заметили, что кто-то вас контрреволюционером считает?» — «Да, заметил. И это, знаете, возмутительно. После всех приказов вдруг меня в ЧК приглашают». — «Кто же это посмел?» — «Да вот есть здесь какой-то Мясников. Суровый человек. Он пришел в ЧК и начал порядки свои заводить: сразу в ЧК пожалуйте». — «А вы как же это стерпели?» — «Нет-нет, я не стерпел, я сейчас же телеграмму подал». — «А в ЧК-то приходили?» — «Да, один раз всего. А потом и сразу Мясникова не стало». — «Это не вы ли его убрали?» — «Нет, не я, а правительство, но из-за меня. Вот теперь узнает, как меня беспокоить». В это время мы подъехали к милиции и остановились. Я вышел из экипажа, а ему говорю: «Вы не уходите, оставайтесь, мы сейчас дальше поедem». А сам пошел за лопатой, киркой и топором. Тут вы и подъехали.

— Ну, а когда двинулись в дорогу, от милиции?

— Вот я и хочу продолжить. Я вспомнил твой рассказ в будке, что ты кого-то подозреваешь из головки губернии в сношениях с Михаилом, и мне захотелось порасспросить Михаила. Он очень глупый. Если бы он знал, то наверняка бы сказал, но он не знает; мне думается, что это все знает Джонсон.

— Ты Расскажи по порядку, как у вас разговор завязался и как кончился.

— Хорошо. Когда мы двинулись, мне захотелось продолжать разговор и говорю: «Да, Мясникову теперь достанется на орехи». Он поглядел на меня и, как бы вспомнив, к чему я это говорю, подумавши ответил: «Иначе нельзя. Если правительство

приказывает, должны его слушать, а то сегодня Мясников пришел, а завтра еще кто-нибудь, и каждый по-своему будет меня тревожить, так что же это будет». — «А как же вы так скоро справились с Мясниковым? Один раз вызвал вас и сразу же его убрали». — «Да, один раз. Я, знаете, не позволю со мной шутить. Сразу и убрали». — «А как убрали?» — «Я подал телеграмму в Москву, и сразу все сделали». — «А вы получили ответ на телеграмму?» — «Нет, не получил. Но его убрали, это и есть ответ, но скоро я получу». Я понял, что телеграмму они подали, но он ничего не знает, почему тебя ушли. Он думает, что тебя убрали распоряжением из Москвы. «Этот Джонсон знает», — подумал я. И я увидел, что разговаривать бесполезно, и перестал расспрашивать.

— Но скажи, во всем разговоре видно было, что он верит-таки, что его эвакуируют вдаль от фронта?

— Да, он был в этом уверен.

— А твой Джонсон, тов. Иванченко, ничего не говорил? Ты не пытался с ним говорить, как Жужгов с Михаилом?

— Ну, нет, Ильич, с этим так разговаривать нельзя. Этот умный, бестия, лишнего слова не проронит, и от него не узнаешь, верит ли он, что мы их эвакуируем, или нет.

— Значит, ни тот, ни другой ничего больше за всю дорогу не говорили?

— Нет, нет, — отвечают оба.^[72] — А вот, когда вы приехали к месту, то как все произошло?

— Как?

— Вот мы приехали, — начал Жужгов, — остановились. Ехать на лошадях в гору, где их надо стукнуть, нельзя. Надо пешком идти. Я и говорю: выходите, господа, мы здесь пройдем через гору — тут прямая дорога есть к переезду. Михаил вышел и пошел со мной, как будто ни в чем ничего, а Джонсон вышел и как-то подозрительно осмотрел место. Ну, я иду с Михаилом, а Иванченко с Марковым — с Джонсоном. Колпашиков остался у лошадей. Зашли в лесочек, это совсем недалеко от дороги. Ну, тут я немного остановился, чтобы сравняться с Джонсоном, а потом и говорю: «Мы приехали, я должен вас расстрелять», — и, подняв браунинг, стреляю. Браунинг дал осечку, а в это время Михаил бросился к Джонсону и, плача, обнимает его шею. Я стреляю, и браунинг разряжается. Михаил падает. Вслед за этим выстрелом, почти одновременно раздается выстрел Иванченко, и Михаил, падая, увлекает за собой застреленного Иванченко Джонсона. Я подошел, и они еще шевелятся, и тут же наставил Михаилу в висок браунинг и выстрелил. Иванченко делает то же самое с Джонсоном, и наступает моментальная смерть.^[73] Мы принялись

копать могилу. Это дело длилось не долго.^[74] И тут мы, Ильич, вспомнили, что ты как будто немного сомневался в нас, и я велел снять одежду с Михаила, а снимая одежду, из карманов стали выпадать различные вещи: часы, портсигар, мундштук, ножичек, табачница и т.д. И мы решили вместе с костюмом взять несколько вещиц: каждому по одной. Взять самое бесценное. И решили тебе ничего об этом не говорить. Я и не хотел, да вот видишь, не мог утаить от тебя. Как хочешь, вот эти вещи (и все четверо показывают каждый свою — это были какие-то пустяковины). Ты можешь приказать, мы их выбросим.^[75]

— Ну, если вы хотите их иметь, то возьмите. А все остальное?

— А остальное, как ты сказал, так и сделали, все в могиле. Если ты хочешь, то завтра или когда захочешь, я тебя свожу и покажу место.

— Это видно будет, а теперь, товарищи, по домам, и никому ни звука. Поняли?

— Это понять нетрудно.

— Ну, итак, двигаем. — Я поднимаюсь с этими словами с кресла, а они вслед за мной. Все мы вместе выходим из милиции. Провожают они меня до Исполкома — это по пути, и удаляются. Пустые улицы. Трубы завода дымят. Гул и шум несется из цехов, и он кажется особенно сильным в этой тишине утра раннего. Это было в 4 часа. Мы попрощались, и я пошел к себе. Спать пошел. Спать по-настоящему, ибо я был спокоен.



63. Ленин, Свердлов и начало конца всех Романовых

Спал я довольно долго. Часов в 11 утра кто-то нетерпеливо настойчиво барабанит в дверь. Поднимаюсь, отпираю, ложусь снова и кричу: «Войдите» Заходит Туркин, немного взволнованный и, не поздоровавшись, прямо с места в карьер: «Ты знаешь, Гавриил Ильич, Михаил Романов бежал».

— А ты что же это, т. Туркин, не потому ли меня разбудил, что одна скотина со двора сошла?

— Это, брат, не шутка. Ты не понимаешь, какое это будет иметь значение для белогвардейцев? Не понимаешь, насколько они могут усилиться.

— Очень понимаю и все готов понять и со всем согласиться. Но только дай мне выспаться.

Он на меня подозрительно поглядел и говорит: «Я тебе удивляюсь, как можно спать после того, что я тебе сообщил».

— Ну, что же я поделаю? Ну, соскочу, плясать иль плакать, драться или обниматься буду, — но ничего это делу не поможет. Да ведь я и не власть.

— Давно ли ты таким формалистом, чиновником философствующим заделался, — явно раздражаясь и желая меня уязвить, зло бросает он.

Я вижу, что парень начинает злиться. Думаю — довольно. И говорю, меняя тон: «Запри на ключ дверь и сядь сюда».

Он на меня поглядел и как будто что-то понял, и быстро запер дверь и подсел к кровати.

Я ему говорю: «Это, Миша, я его бежал».

— Вот, черт, какого же ты черта надо мной столько времени мудрил, — и, улыбаясь, говорит: — Это хорошо, а то наделал бы он нам делов.

— Ну вот, Миша, сегодня же ты поедешь в Москву, к Свердлову и скажешь, что я тебе расскажу.

— Идет. Но нет ли какой okazji ехать в Москву?

— Есть. Ты же секретарь Совета, а не знаешь, что Съезд Советов собирается.^[76] /.../

Кончили заседание Совета. Впечатление у рабочих от побега Михаила самое прескверное: принимают с тягостным чувством —

прозевали, прокараулили, а теперь-то что? Чья кровь прольется в борьбе контрреволюции, руководимой Михаилом? Если теперь вот-вот к Екатеринбург подкатят, то что будет дальше? И у всех одно: что с ними церемониться! Бить их и все. Убытку меньше. Все жалеют, что он бежал, а не расстреляли. Я прислушиваюсь и думаю: какое же верное чутье у них. Без больших размышлений, без вывертываний всего нутра, а просто бить их — убытка меньше.

На Совете встретил Гришу Авдеева. Он подходит и спрашивает: «Ну как, Ильич, все ли хорошо? А ты вернее меня решил. Я теперь тоже сделал бы так, как ты. Почему ты меня не взял?»

Я гляжу ему в его всепонимающие глаза и улыбаюсь. А затем говорю: «Ты понимаешь?»

Он не ответил и глазами только блеснул в ответ.

— Ну так молчи. А что ты теперь согласен, то я и тогда знал, что потом постигнешь. И нетрудно теперь согласиться, когда все сделано, послушай-ка, что рабочие-то говорят.

— Я-то слышал, они, знаешь, по-разному думают: одни — это большинство — жалеют, что не расстреляли. Другие — это коммунисты — расстрелять надо тех, кто прокараулил и не расстрелял Михаила, и третьи — это меньшинство из коммунистов и беспартийных — что Михаил расстрелян, а не убежал, и довольны. Но все рабочие предпочитают видеть труп Михаила, а не бежавшего и ставшего во главе контрреволюционных войск. Даже меньшевики и с-ры от самых крайних правых до левых — все сливаются в один поток: убить надо было, ротозеи.

— А вот оно как, Гриша, ты интеллигентов не любишь, а приказы хотел выполнить, а я к ним отношусь с уважением, а приказы изорвал.

— На то ты и наш вожак, чтобы вернее и быстрее решать. А все-таки я тоже верно решил, хотя и позднее. Когда ты сказал насчет семнадцати и ушел, я все это связал в один узелок и получил, что ты кого-то хочешь расстрелять, вопреки приказам из центра, и потому так сильно задумчив. И тут-то я и стал думать и решил, что я ответил тебе формально, т.е. неправильно.

— Словом, я не промазал? Таково было бы мнение всех рабочих, если бы им сообщили об этом факте.

— Нет, не промазал.

— А не значит ли это, что они выносят резолюцию недоверия защитникам Михаила?

— Конечно, значит.

— Выходит так, что они порицают и Ленина, и Свердлова, и

всех его усердных исполнителей?

— И еще как осуждают. Если бы они знали, Ильич, правду, что ты против всех приказов Лениных и Свердловых и против всей этой безмозглой интеллигенции восстал и пристрелил его, то как бы они на тебя посмотрели! Они бы любовались тобой, и как бы они ненавидели эту дряблую, дрянную слякоть человеческую — интеллигенцию — которая очень быстра и решительна, когда вопрос поставлен о жизни рабочих, и трусливо гуманна, когда речь идет о царях.

— Так молчок, Гриша.

— Ну, а ты как думал. Конечно. Ведь я все знаю для себя. Пусть кто умеет, догадается, как я догадался и как догадываются некоторые рабочие. А я все-таки прав. Вот тебе еще один факт против интеллигенции. Они наверху, им виднее, у них все нити власти, а ты, рабочий, внизу, а они ошиблись в оценке всего—и внутреннего, и внешнего положения нашей республики, и личности Михаила, его значения, а ты внизу, тебе гора мешает глядеть, делать обзор, да еще и они на этой горе со своим авторитетом наводят тень на светлый день, а все-таки ты решаешь верно. Вот оно как. А поставь тебя на гору, дай тебе те средства познания, ты горы своротишь, а они, видишь, как навоюнали.

— Да ведь все равно, Гриша, если бы на вершине стояли рабочие, и они отдавали [бы] те приказы, что Ленин и Свердлов, а этих приказов не послушал бы какой-нибудь интеллигент и сделал то, что я, то ты ведь так же ненавидел бы интеллигенцию, как и теперь.

— Ну нет, в том-то и дело, что получается все как раз наоборот. И так, что вся она заслуживает большого презрения и малого доверия: гнать ее надо, Ильич.

— Ты усаживаешься на своего конька и располагаешься для длинного разговора, а я занят. Я сейчас пойду с Туркиным, ему кое-что поручу сделать в Москве. До свиданья, Гриша.

— До свиданья, Ильич. А жаль, что у тебя нет время сегодня. Я, знаешь ли, перечитал и «Коммунистический манифест», и «Гражданская война во Франции» и хотел тебе сказать, что ничего особенного. /.../

После заседания Совета мы с Туркиным пошли ко мне, и когда мы зашли в комнату, я запер дверь, уселся и говорю:

— Ну, видишь, вот и в Москву на съезд едешь.

— Да, а Сбросов, кажется, все-таки недоволен, что ты его не пустил на съезд.

— А мне в высокой степени начхать: доволен ли он или нет. Я не обязан всех довольными делать. Но он молчал и ничем не

выказал недовольства.

— Но так ведь он же знал, что если он что-нибудь скажет, то ты выступишь, и молчал. Однако оставим, оставим это. Мне ведь надо собираться и ехать на станцию. Ты мне скажи, что и как передать Михалычу. — (Это кличка Свердлова в 1906 году, во время его работы в Перми).

— Ты, наверно, у него остановишься на житье?

— Не знаю.

— Я у него жил. Да это безразлично. Так и скажешь. Гражданин^[77] убежал Михаила и всех присных его. Пусть не рассказывает об этом всем-то, а Ленину и еще кому надо знать, Дзержинскому, например, и довольно. Да, поди, сами знают, кому сказать нужно. Если станет спрашивать, почему я это сделал и как, то скажи, что их телеграфное распоряжение местным властям создало такое положение, что Михаил мог бежать в любую минуту. Я случайно узнал от проболтавшегося арестованного офицера о наличии офицерской организации, ставящей целью освободить Михаила. Узнал также, что местные власти ни официально, ни частным порядком ликвидировать Михаила не дадут. И больше того — они скрывали его пребывание от меня. Приближение фронта к Екатеринбург у увеличило опасность побега Михаила. Михаил — это единственная фигура, вокруг которой может объединиться вся контрреволюционная сила внутри РСФСР. Единственная фирма, которой могут помогать правительства всех буржуазных стран. Больше, чем какой бы то ни было другой, и больше, чем всем фирмам вместе взятым. Опасность для советской власти от побега Михаила и возглавления им всех контрреволюционных сил возрастет в величайшей степени. И во всяком случае, обойдется не дешевле многих и многих тысяч рабоче-крестьянских жизней. Скажешь еще, что все их приказы я понимал не как свидетельства большой любви к Михаилу, а как вынужденный жест в сторону буржуазных правительств всех стран. И потому, чтобы снять голову с контрреволюции и не дать повода ни к каким осложнениям с внешним миром, я избрал форму побега. Но заявишь от моего имени, что если надо, то я могу, хоть сейчас, хоть после, предстать перед судом и ответить за все, что я сделал. Понял? Сумеешь передать?

— Конечно, сумею, ведь это не на собрании выступать.

— Ну, так смотри, не перепутай.

— Что перепутать? Я возьму, да запишу все, что ты только что сказал, а когда на станцию поеду, к тебе забегу и прочитаю. Если что не так будет, поправешь.

— Хорошо, хотя и не очень.

— Почему? — Да не люблю я в этом деле никаких письменных следов.

— Ну, так ведь я запишу условно, для себя.

— Идет.

— Так я бегу, Гавриил Ильич, собираться?

— Действуй.

— Я тебя здесь найду, наверно?

— А где же?

Приходит ко мне Дрокин и спрашивает, что я думаю о побеге князей из Алапаихи.^[78]

Я ему подаю телеграмму от Свердлова, в которой он меня спрашивает, принимал ли участие в Алапаевском побеге «Камский Комитет».

Он прочитал и взглянул на меня немного прищуренными глазами, желая понять все. Все понять. А потом: «Это тебя он «Камским Комитетом» называет?»

— Да, меня.

— Так что же ты ответишь?

— Я уже ответил.

— Как? Не запрашивая Алапаевку? — немного даже с прискоком вскрикнул он.

— Нет, не запрашивая.

— А что же ответил?

— «Камский Комитет» участия не принимал, но его методами.

— Но почему ты знаешь?

— Да потому что я развязал этот психологический узелок. Говорил же я тебе. Я убрал психологическое препятствие. И зачем же мне Алапаху спрашивать, коли я тебе заранее сказал, что это так будет.

— Но ты ошибиться можешь.

— Если хочешь, проверь, а я в этом уверен и потому дал телеграмму. Видишь, настолько уверен, что дал телеграмму, что это так. Вот, что называется — знать пролетариев-революционеров. Как по книге читаешь. Не так ли, Вася?

— Да, ты здорово хватил. Я даже готов думать, что ты дал в Алапаевку телеграмму, чтобы они их прикончили.

— Я не давал, да и с какой же стати я дам в Алапаевку телеграмму? Посуди-ка, поразмысли-ка. Официально я ничто.

— Но тебя там знают.

— Знают Беловы, сидел с ними в тюрьме. Ну, и все.

— И это достаточно, чтобы тебя послушать.

— Ты думаешь?

— Да, я в этом уверен.

— Плохо считаешь. Я телеграмм не давал.

— Да я не в том уверен, что ты телеграмму дал, а в том, что если бы ты дал, то Беловы, зная тебя, исполнили бы твое распоряжение.

— Этого я не знаю, но видишь, я уверен в большем: они меня без телеграммы поняли.

— Да, это изумительно. А я проверю. Ведь я по должности это должен сделать. Сейчас же посылаю хлопца в Алапаевку.

— Дело твое.

— А ты не обидишься?

— А это почему?

— Ну, всякое бывает.

Теперь прошло семнадцать лет. Ни раньше я ни с одним алапаевским товарищем не встречался и не говорил на эту тему, ни после «побега» Михаила и ни после «побега» князей с Алапаевского завода — я не спрашивал никого из них, почему они это сделали. Но с первой минуты я был уверен в том, что правильно понимаю события. Так оно и было. В этом сказалась историческая неизбежность гибели Романовых. Они не могли отделаться потерей одной короны и даже с головой, как Людовик XVI. Не могли отделаться гибелью провокаторов, жандармов, полиции. Нет. Все это могло быть достаточным для 1861 года, но не для 1917. XX век корон не любит.

Туркин приехал и сразу разыскал меня, чтобы рассказать о впечатлении, которое произвело на Ленина и Свердлова мое сообщение.

— Приехал я туда и сразу к Михалычу: говорю, что у меня очень серьезное дело есть к тебе, поговорить надо. А у него постоянно суетня, толкотня, народ, запросы, заседания и т.д. Трудно найти ему свободную минуту, но так как от нас бежал Михаил, а в делегации из Перми не было никого из лично ему известных, то при встрече со мной он сразу вспомнил, что Михаил бежал. И когда я ему сказал, что дело есть и говорить надо, то он, сверкнув своими пенсне, поглядывая на часы, спрашивает — много, что надо говорить? «Нет, не очень, но надо». — «Мне тоже с тобой надо бы потолковать. А почему Гражданин не приехал?» — «Не знаю. Но он не хотел ехать. И меня вот послал». — «Так вот как: сегодня ко мне после всех заседаний идем чай пить, и там потолкуем». — «А когда это?» — «Я постараюсь быть свободным к 10 часам вечера. К этому времени ты будешь у меня и, кстати, повидеешься с Ольгой».^[79] — «Идет». — Так и было. Вечером, немного позже 10 часов мы сидели у него за столом. Нас было пятеро: Михалыч, Ольга, Аванесов, Енукидзе и я. Ольга и я сидели уже за столом, когда

вошли Свердлов, Енукидзе и Аванесов. Усаживаясь за стол, Свердлов своим басом зовет меня: «Почему это, как это? что это? бежал Михаил?» — «Я вот по этому делу и хотел бы с тобой поговорить. Я наказ имею говорить наедине с тобой». — «Хорошо, сейчас мы с тобой возьмем чай, хлеб и уединимся». Когда мы зашли в другую комнату, он сейчас же набросился на меня: «Ну, рассказывай, что случилось?» Я ему передал то, что ты мне велел. И впечатление было очень сильное. Он был очень, очень доволен. И тут же созвонился с Лениным и немедленно назначил свидание. И я должен был повторить рассказ в присутствии Ленина и Свердлова.

— Ну, а Ленин?

— Ленин тоже очень был доволен, что Михаил не убежал, а его убежали. Тут же они решили, что они знают, что он бежал. И пусть так и остается. А потом Ленин спрашивает: «А кто этот Гражданин, что все это организовал?» Свердлов ему напомнил:

«А помните, мы вместе на открытие памятника Карлу Марксу ходили,^[80] и я еще сказал, что это наш философ?» «Да, да, припоминаю», — говорит Ленин. «Ну, так это он. Это один из самых больших стажеров. Орловскую каторгу вынес. У нас он один, и таких, как он, нет». — «И не глупый, видать». Словом, знаешь, Гавриил Ильич, они очень облегченно вздохнули, когда узнали от меня об этом, и тебя хвалили.

— А ведь я знаю, что они довольны были.

— Почему ты знаешь?

— Во-первых, потому, что они не дураки и понимают значение Михаила для контрреволюции, но подумать об этом, осмыслить это, как надо, они могли только после побега. А во-вторых, я получил телеграмму, где они спрашивают, не я ли «бежал» князей из Алапаихи.

— Ты понимаешь, если Михалыч, который временем Ленина дорожит больше, чем всем остальным, если он, не спрашивая его, имеет ли он время и хочет ли он слушать, а прямо назначает свидание и заставляет меня повторять мой рассказ для Ленина и его, то ты из одного этого можешь понять, какое значение имел для них этот факт. А если бы ты видел их лица в это время.

— Ну, а говорили они, что они опростоволосились, давая столько приказов в защиту Михаила?

— Нет, не говорили. Но ведь они и довольны были, что ты все их приказы к чертовой матери послал. Значит, они признали ошибку.

На другой или третий день после приезда Туркина я уехал в Екатеринбург.^[81]

Глава V.

ТРИ ПОПРАВКИ

64. Две поправки Мотовилихи приняты Лениным и Свердловым

Две поправки внесла Мотовилиха к действиям Центрального Советского правительства и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии. И они признаны историей.

Но самая главная и основная поправка — это третья: скрутить Лукояновых. Прекратить бессудные казни и расправы всех сортов со стороны Лукояновых всего Союза — ждет своего признания.

Некоторое время спустя из Екатеринбурга я уехал на фронт.

Побывал в Вятке, в Казани, в Воронеже, Сибири, Петрограде, Москве и т.д. и всюду наблюдал, что Лукояновы — это не пермское явление, а обще-республиканское. Самые мрачные предсказания моего друга-философа, Гриши Авдеева, подтверждались.

Молчать было преступно, Я решил выступить открыто.

Мои статьи напечатаны не были, а переданы Бухариным (редактором «Правды») Ленину. Это было в 1921 году. Ленин разразился письмом, рассчитывая больше не на свою аргументацию, а на свой авторитет.

В своих статьях я требовал свобод: слова, печати, собраний, коалиций (организации партий) для пролетариата и крестьянства.

Вместо того, чтобы сказать честно и открыто, что никаких свобод ни пролетариату, ни крестьянству он дать не хочет, и объяснить, почему это нельзя дать, он пустился в политиканскую болтовню самого низкого свойства. Вопреки всему, что написано в моих статьях, он подкинул мне мысль, что я хочу свободу слова и печати для буржуазии.

Этот бесчестный прием меня возмутил больше всего. Он показал, что на честную идейную борьбу Ленин не идет.

Приписав мне эту мысль, что я хочу свободу слова, печати и т.д. для буржуазии, он пускается в самую необузданную словесность: «свобода печати, слова и т.д. в XVIII веке была лозунгом революционным и прогрессивным, а теперь ложь и обман буржуазии, и вы, Мясников, шли в одну дверь, а попали в другую. Хотите спасти пролетарскую революцию, а хватаетесь за

средства, несущие верную гибель ей. (Свобода печати для буржуазии)».

Я ответил, что под предлогом лишить буржуазию всех и всяких свобод вы лишаете пролетариат и крестьянство в первую голову. Вы, Ленин, замахиваетесь на буржуазию, а бьете нас по зубам, у нас кровь из зубов, скулы трещат у нас, у рабочих. Не о свободах для буржуазии я говорил и говорю, а о свободах для трудящихся масс и в первую голову — для пролетариата. Если вы, Ленин, хотите знать, для кого я хочу свобод, загляните в ЧК, и вы увидите, что 90% политических заключенных в ЧК — это рабочие и крестьяне. Вот для них-то я и хочу свобод.

Буржуазию мы били и будем бить не хуже, а может быть, лучше многих других. И если вы, Ленин, хотите, давайте ее бить вместе. Но давайте по-товарищески относиться к рабочим и крестьянам. Никаких свобод для буржуазии. Максимум принуждения и минимум убеждений к буржуазии, максимум свобод для пролетариата. Максимум убеждений и минимум принуждения к пролетариату и крестьянству.

Он разглагольствовал о лишении свобод буржуазии, а мои статьи запрещал печатать: дворянин Ленин запрещал печатать статьи рабочего.^[82]

Мои статьи и письма являются нелегальными и до сих пор, письмо Ленина ко мне напечатано в его полном собрании сочинений (том 18-й).^[83]

Я не боялся напечатать письма Ленина и напечатал нелегально в брошюре «Дискуссионные материалы», где поместил мои статьи, его письмо и мой ответ, с резолюцией 7-тысячного собрания рабочих Мотовилихи.^[84]

Я был исключен из партии в феврале 1922 года, а в марте был арестован в Мотовилихе, и меня пытались «нечаянно» пристрелить.^[85] Это известно Коминтерну — Кашену, Суварину, Селье, Трэну, Троцкому, Маслову и пр.^[86]

Лукояновы оказались сильнее Мотовилихи. Они торжествуют. Лукояновы всего СССР организовались в единую партию и у них вся власть. Но Мотовилиха крепнет, ширится, растет. Она становится монолитной и цельной. С развитием индустрии и индустриального земледелия, весь народ все больше и больше превращается в единую, сплошную Мотовилиху. И Мотовилиха скажет свое слово. Она внесет свою третью поправку. Мотовилиха восторжествует.

И вот теперь, в 1935 году, на шестой год моего побега из Союза Лукояновых, белогвардейцы кричат: «распни, распни его», Лукояновы в СССР кричат: «распни, распни его». Ведь если они расстреливали и расстреливают шептунов из пролетариев, то тем более нужно расстрелять меня, который говорит громко и не является знатной вельможей. Меня-то Ленины, Свердловы, Сталины и компания не захотят оградить телеграфными приказами: я не Михаил II.

Результат тридцатилетней революционной борьбы: пролетариат не имеет права «шептать», не имеет права свободы слова, печати, собраний, организаций партий. А я, пролетарий, вынесший за свои идеи, за принадлежность к партии большевиков больше, чем все члены Политбюро и ЦК вместе взятые, я не имею права не только говорить и шептать, но иначе думать, по-своему понимать интересы моего класса, пролетариата, и жить в Союзе Советских Социалистических Республик, вместе с моими детьми и женой.^[87] Нет, Лукояновы этого не потерпят. И вот, спасаясь от Лукояновых, я бегу в буржуазную Францию, чтобы немного передохнуть от непрестанных ласк Лукояновых, от беспрерывных тюрем и ссылок и опять тюрем и ссылок. И здесь я получаю возможность не только думать, но и писать. Это ли не трагедия пролетариата?

В 1918 году Лукояновы — это было не правило, а многократно повторяющееся отступление от правила. Это был симптом. Теперь лукояновщина — с 1921 года, возведена в принцип. В норму. В закон. Бессудные расправы над инакомыслящими пролетариями — явление бытовое, обычное, нормальное. А все махинации с ЧК и с ГПУ дела нисколько не изменяют. Пролетариат СССР не имеет права свобод: слова, печати, собраний, организации. И где сидит Лукоянов — на Лубянке или на Красной площади — он одинаково приятен пролетариату.

-Так вот. В 1918 стоило ли рвать приказы Ленина и Свердлова и убивать Михаила?

Я боролся, борюсь и буду бороться за наше рабочее государство, основы которого намечены выше. Но не боролся за свободу Лукояновых расправляться с нами, пролетариями, за то, что мы осмеливаемся шептать. Не за лукояновскую свободу я боролся, а за пролетарскую.

На пути к цели лежала помеха. Я ее убрал. Мотовилиха всего Союза уберет лукояновых. И потому:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле. [88]

Оправдала ли история наш акт?

-Оправдались ли наши предвидения?

-Да, полностью, целиком.

Всем известно, что белогвардейцы и интервенционисты всех стран в 1919 году с юго-запада подходили к Туле, с северо-востока продвинулись за Казань, с запада были в 4 километрах от Петрограда, с севера были около Вологды. Это при условии, когда контрреволюция была лишена знамени, была лишена программы, способной мобилизовать более значительные силы как внутри, так и вне страны. Михаил Романов с его жестом в пользу Учредительного собрания был бы этим знаменем, этой программой, которая бы сделала всех с-р-ов (за исключением группы Марии Спиридоновой), а также всех меньшевиков (за исключением группы Лозовского и Мартова) сторонниками Михаила Романова, ведущего страну к Учредительному Собранию. А это, несомненно, отразилось бы в сильнейшей степени на поддержке всем капиталистическим миром контрреволюции. И если контрреволюция в состоянии была запретить революционные силы в маленьком кругу (размеров Московского государства времен Ивана Калиты), то фирма Михаила способна была бы сделать значительно больше, и кто знает, не стоило бы это головы Советской власти? И во всяком случае, это стоило бы не одной сотни тысяч рабоче-крестьянских жизней.

Каждый из действующих лиц склонен придавать всем своим действиям большее значение, чем их реальная стоимость. Может быть, и я страдаю этим общечеловеческим недугом. Это должны решить читатели. Что же до меня, то я спокоен. Я сделал, что мог. Сделаю, что могу. Знаю, что в Мотовилихе будет праздник.

Конец

Примечание:

Троцкий часто похвалялся доверием Ленина, приводя пример

с чистыми бланками, которые давал ему Ленин.^[89] Я этим похвастаться, как видят, не могу, а могу сказать, что я рвал мандаты Свердлова и Ленина, а после они меня считали правым. И в Мотовилихе, где я имел возможность выступить открыто один раз против письма Ленина, я имел единодушное согласие против него. Ленин не получил ни одного голоса. Этим Троцкий похвастаться не может. Чистый бланк Ленина — это не свидетельство правильного понимания интересов пролетариата.

1. Из автобиографии Мясникова

/.../^[90] лице и из тихого захолустного городка уехал на Урал, в город Пермь, завод Мотовилиху.

II

Это было весной 1905 года.

Русско-японская война не была еще окончена. А отзвуки кровавого воскресения 1905 г. тихо стлались по лицу земли великой и будили сознание рабоче-крестьянских масс.

Мне было 16 лет. Из ровенького, мирного, ничем не возмущаемого городка я попадаю в бурный рабочий водоворот. Как губка впитывает воду, так и я жадно вбирал в себя все дотоле не виданное и не слышанное. Я искал правду.

Та правда, что мне вбивали в голову, перестала быть правдой: «Ищите и обряцете». Я искал и нашел. Я вступаю в члены партии социалистов-революционеров. Это было в 1905 г. в мае месяце. А в сентябре 1905 г. я покидаю ряды этой партии и вступаю в члены РСДРП.

Я — шестнадцатилетний рабочий, слесарь одного из самых больших заводов не только Урала, но и всей России (в это время на заводе работало не меньше 10 000 человек), уже имею какой-то критерий, чтобы выбирать из двух линий партии — с.-р. и с.-д.

Но и внутри социал-демократической партии не было единомыслия: шла борьба между меньшевиками и большевиками. Я примыкаю к большевикам.

Надо сказать, что все это происходит в подполье, нелегально. Быть членом партии социалистов-революционеров или социал-демократов — это совсем не означало быть в почете, иметь доходы, власть, привилегии. Нет. А это означало — жертвы, жертвы и еще жертвы. Это налагало величайшие обязанности и в награду за их исполнение ждали: пуля, веревка, каторга, тюрьма

и ссылка.

Но для меня, загоревшегося подростка, все нипочем.

Забастовка? — Я бегу на собрание, раздаю прокламации, вместе с другими бастующими рабочими кидаю гайки в стариков-штрейкбрехеров, что остались у станков и тисков. Мы их выгоняем из завода.

Одна забастовка сменяется другой. Мотовилиха бурлит. А она давала тон всему Уралу. Вместе с Мотовилихой киплю и я.

Волнуюсь, кричу, спорю, перебегаю от одной группы рабочих к другой, слушаю, учусь, читаю.

III

Но вот и декабрь 1905 г. После 2-х месяцев свободы начинается драка за свободу. Пролетарии Мотовилихи готовятся к вооруженному восстанию.

Александр Лбов (знаменитый в свое время) собирает несколько человек рабочих с.-д., которые бы не струсил при случае, и, к великому моему счастью, к числу тех, кто не струсит, причисляет меня. Я вместе с Александром Лбовым иду экспроприировать оружие на керосинный склад Нобеля, что в 7 километрах от Перми и в 2–3 километрах от Мотовилихи.

Подготовка к восстанию — это значит достать оружие. И мотовилихинцы его доставали: разоружали полицейских, жандармов, покупали, ковали и делали. А экспроприация — это была новая форма разоружения врага и вооружения рабочих. Это была первая экспроприация.

Экспроприация удалась. Без единого выстрела разоружили охрану в 12 человек и отобрали 12 револьверов.

Я был горд, что мне дали револьвер для экспроприации, а затем дали револьвер из экспроприированных, чтобы завтра, 13-го декабря 1905 г., пойти на восстание.

И я пошел. Но в том доме (в доме Морашева, за Ивой), в котором разместился десяток боевой дружины, чтобы бить из этой засады по казакам, я был схвачен казаками.

Из этого дома стреляли (убили двух казаков) и разъяренные пьяные казаки разгромили дом, схватили меня и нашли у меня револьвер.

Можно без труда представить, что они выделявали со мной, шестнадцатилетним повстанцем.

Брошенного без сознания, замученного до полусмерти, подбирают товарищи и увозят в больницу.

Из больницы всех подозрительных уводят и отчасти

«расходуют» по дороге «при попытке к побегу», а отчасти отправляют в тюрьму.

Я беспомощен что-либо сделать сам. Моя голова, лицо и руки превращены в какой-то сплошной, бесформенный кусок мяса, почерневшего, как сплошной черный кровоподтек. Мои глаза закрылись этой черной опухолью всего лица. Забинтовано лицо, голова и руки.

На помощь пришли товарищи, и с разрешения либерального врача, без разрешения властей меня увезли на квартиру к инженеру Давыдову. Скрыли.

Это меня спасло. При чрезвычайном положении суд был простой: из дома стреляли, убили казаков, меня арестовали и нашли револьвер. Просто и ясно...

Это было первое боевое крещение и первый опыт.

IV

Но недолго гулял я на свободе. В 1906 г., 10 июня меня арестовывают в заводе Мотовилихе в цеху. Производят обыск в заводском инструментальном ящике и находят много прокламаций. Уводят на квартиру и там находят прокламации, нелегальные газеты, извещение об Объединительном съезде РСДРП, револьвер, четыре ударника для бомб и печать районного комитета партии.

Это были самые большие аресты в Перми и Мотовилихе. В этот же день были арестованы Я.М. Свердлов, его жена — Новгородцева, Клаша Кирсанова (нынешняя жена Ярославского), Преображенский и много других, а всего 54 человека. И было создано «дело 54», дело Пермского Комитета РСДРП. Следствие просеяло эти 54 и осталось 20. Судили 20 человек.

Арестовали тайную типографию. Захватили бомбы и лабораторию для изготовления бомб и весь состав Комитета. Я был арестован лично знаменитым истязателем Касецким. И, желая получить от меня, молодого рабочего, нужные сведения, он засадил меня и дал поесть селедки. Я — неопытный, с большим аппетитом поел... Но пить... пить не дали. Это было недолго, три дня всего, но это было тяжело. На мои просьбы воды давали селедку. Но я уже ее не брал. А Касецкий приходил «поговорить», но ничего не добился, я, как хороший ученик революции, твердил: «я от всяких показаний отказываюсь».

Касецкий вскоре был убит, и убили его мои товарищи, те, что были в моей боевой дружине, начальником которой я был до ареста. Убили в театре, на глазах у всех и с одного выстрела из

браунинга. Стреляли от выходной двери. А Касецкий сидел в 1-м ряду. Пуля просверлила ему голову. Нахватано было много народу, но действительного виновника убийства не арестовали, его убил молодой 18-летний рабочий социал-демократ-большевик, Алексей Архиреев.^[91]

V

И вот я уже член Пермского Комитета и осужден на 2 года 8 месяцев каторжных работ. Но, вследствие несовершеннолетия, каторга была заменена ссылкой на вечное поселение в Восточную Сибирь.

В 1908 году в июне месяце я, одетый во все арестантское, прибываю на место поселения.

И, не давая опомниться властям, я на третий день, продав халат, бушлат, боты и брюки арестантские, покупаю лодку и бегу.

VI

В 1909 году в гор. Тюмени между многими другими арестован Агапит Мячков, как руководитель Тюменской организации и забастовки машаровцев. Его имя открывают. Оказывается, это Гавриил Мясников, бежавший из ссылки на поселение.

При аресте были взяты все необходимые материалы для привлечения меня к суду по 102 статье, но жандармы этого не хотят. Они хотят вывести меня в расход: через провокатора, Михаила Двойнишникова (официально установлено [его] провокаторство только в 1917 году, за что Двойнишников и был расстрелян), обвиняют меня, что я провокатор.

В 1910 году в Александровской пересыльной тюрьме собирается вся социал-демократическая тюремная фракция и судит меня. В суде принимает участие и Е. Преображенский. Выносят оправдательный приговор. Но надо сказать, что с провокаторами обычно расправлялись просто: их убивали.

Я ничего о подозрениях товарищей и суде не знал. Только после мне сообщили, что речь шла обо мне, и сообщил это Преображенский.

Я тут же сообщил Преображенскому свои соображения, что это дело жандармов, и как только они узнают, что их дело прогорело и что я реабилитирован, то они непременно возвратят меня в Тюмень, предадут суду, и я пойду на каторгу. Он

согласился со мной». А товарищи устроили мне «внеочередную» отправку на этап, а по дороге в ссылку я бежал.

VII

Но в том же 1910 году в декабре месяце на Ленских золотых приисках арестовывают слесаря, Нестора Попова. Арестовывают за агитацию и отправляют в город Бодайбо в тюрьму. Это был я. Мне уже 21 год. Установив, что это я, предают меня суду за побег. Не зная ни о моих прежних побегах, ни о моем тюменском деле, до суда освобождают под надзор полиции, а я бегу. Это было в июне 1911 года.

VIII

1913 год — это год 300-й царствования дома Романовых. В гор. Баку идет подготовка к 300-летию с двух сторон: со стороны официальной и со стороны нелегальной, большевистской.

Жандармерия встревожена. Мобилизованы все шпики и провокаторы.

В доме №5 на Ольгинской улице что-то творится не ладное. Живет там какой-то слесарь-истопник, Попов. С женой, не с женой, а так себе — с бабой очкастой.

Часто к нему приходит много людей. Уходят. Снова приходят. Сам часто уходит. Да и кому какое дело.

А вот поди же ты и поговори с начальниками охранных отделений...

Следят они за этим Поповым, зорко, по пятам. Он видит и говорит жене: «Только бы дело довести до конференции гор. Баку и проводить хорошо праздничек 300-летия, а после я удеру. И чорта дикого они [меня] арестуют. Бросить же дело не могу. Некому передать». (Теперь-то ох как много Тер-Габриэлянцев, что называют себя большевиками с 1904 года, но оба Тер-Габриэлянца, как предсовнаркома Армении, так и предЦИКа Армении,^[92] были там, и оба не только палец о палец не ударили для поддержки организации, но и, как чорт ладана, боялись встречаться с нелегальными. Были там Стопани, Лядов,^[93] да и мало ли еще!).

Но и жандармерия знает свое дело. Примерно за полтора месяца до 300-летия, за неделю до конференции, в поезде, что ходит между Баку и Балаханами, происходит что-то не совсем обычное: дали один звонок, два, и вот уже прошло не меньше 15

минут, а 3-го отправного звонка не дают.

Один человек нервничает больше всех. Рабочий, как и все — с узелком, видать, хлеба, завернутого в платке, как обычно ездят на работу.

Вошел он в первый вагон, а прошел весь поезд и оказался в последнем. Хотел он спрятаться от четырех любопытных глаз, да не удалось. И, небрежно бросив узелок с' «провизией» на скамейку, сел и думает: «В Балаханах такая сутолока на вокзале, что я там не только от 4-х, но и от десятка скроюсь...»

А в это время готовят ордер на арест Попова и потому поезд задержали. Эта задержка и волнует его.

Но недолго пришлось волноваться. Скоро с той и с другой стороны в обе двери вагона заходят по жандарму и идут друг другу навстречу. Встретившись с четырьмя глазами, с теми, от которых хотел укрыться этот рабочий, они подходят к этому рабочему и спрашивают его фамилию. Тот отвечает: Попов.

— Вы арестованы, следуйте за нами в жандармскую, — говорит жандарм.

Попов встает и идет к двери между двумя жандармами: один спереди, а другой сзади. Но не успевают они сделать и нескольких шагов, как сзади идущий жандарм спрашивает: «А этот узелок не ваш?»

— Мой, — отвечает Попов.

— Возьмите его. А что же в нем?

— Прокламации.

— Какие?

— К 300-летию дома Романовых.

— Значит, и вы готовитесь к 300-летию?

— А то как же, готовимся.

По приговору выездной сессии Тифлисской Судебной Палаты, за принадлежность к партии большевиков, я был приговорен к 6 годам каторжных работ со специальным кандалным сроком. За побеги приговорен к 3 годам каторжных работ.

IX

Кто же не знает Орла? Орел — это всем каторгам каторга. Мужественные, крепкие революционеры при слове «Орел» бледнели и терялись. Да, это не каторга, а сплошной ужас. Это костоломка. А отправляли туда самых буйных, строптивых и непокорных.

В 1917 году в марте месяце из Орловской каторжной тюрьмы

пряমেхонько из одиночного корпуса, из одиночки №44, под звуки музыки, пение революционных песен, под громкое «ура» — выхожу я, бородатый и усатый, с проседью, в коротко стриженных (под машинку) волосах на голове, выхожу на свободу. Мне 28 лет.

X

Из каторги, это точно. Но подозрительный этот Мясников. На вопрос орловских «революционеров»:

— Вы за оборону, товарищ? — Вопрос был задан не в переносном, а в буквальном смысле слова, на пороге дверей каторги. Я ответил:

— Товарищи, я социалист. Знаю постановления Штутгартского и Базельского конгрессов, провозгласивших лозунг «Война — войне». За это я был в каторге.

Этого было достаточно, чтобы меня не снабдили ни деньгами, ни одежей и чтобы я на собраниях и митингах с боем брал слово: мне говорить не давали. Но каторжная одежда имела великую силу. Я не пожалел, что меньшевики и с.-р. не снабдили меня ничем. Когда мне не давали слова, я появлялся самочинно на трибуне и говорил: «Товарищи, только сейчас вы сняли с меня кандалы, сняли их с моих ног и мыслей, а мне здесь их надевают вновь: мне не дают говорить». Этого было достаточно, чтобы опрокинуть всю дипломатию оборонцев, и они, подавляя свою злобу, вынуждены были давать слово.

А большевика я там ни одного не встретил.

XI

В арестантской одеже я приехал на Урал, в Мотовилиху. В первый день моего появления Комитет партии командирует меня в Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов завода. И во всем Исполнительном Комитете мы были 3 большевика: Карякин, Решетников и я. Скоро дело изменилось /.../.

И засел я в Мотовилиху, прилагая все силы, чтобы остаться там: председатель ЦК партии и ВЦИКа Я.М. Свердлов, человек твердый и решительный, а потерпел-таки неудачу и не мог заставить меня поехать в центр — в Петроград на работу.

Был я членом ВЦИКа и председателем губернского комитета партии и комиссаром дивизии и т.д., но все это я считал формальностью, а по существу всегда считал себя членом

мотовилихинской организации.

Мое влияние там было очень заметно. Допустим, к примеру, что Зиновьев, Троцкий или теперешний всесильный владыка Сталин встал[и] бы в оппозицию к Ленину, и Ленин написал письмо к той организации, где работали они, против них, то кто же усомнился бы в том, что каждый из них не собрал бы большинства против Ленина. А я вот собрал подавляющее большинство в Мотовилихе, и солидное большинство в Перми против ленинского письма. И это объясняется не какими-то мистическими качествами моими, а тем, что я, выступая, имел программу, знал, что надо говорить и как говорить. Знал, за что нужно звать бороться рабочих и как бороться. /.../

XIV

До 1920 года я вместе с партией прохожу всю дорогу борьбы, а борьба была тяжкая. А в 1920 году начинаются разногласия. И чем дальше, тем все больше и больше они принимают определенную форму.

Первые репрессии по партийной линии. Уполномоченный ЦК Израйлович^[94] доложил, что, если меня не убрать с Урала, то с Уралом не справиться. И троцкист Крестинский,^[95] тогда генеральный секретарь ЦК, проводит постановление о снятии меня с работы и переброске в Самару. А когда я приехал в Москву, то узнаю, что не в Самару, а в Петроград. «На выучку к Зиновьеву», — как он шутя выражался.

XV

Поехал. В первый день приезда состоялось собрание ответственных работников в том же 1-м Доме Советов, где жили все ответственные работники, где жил и я. Я был приглашен. И как это ни странно, но с первых же слов Зиновьев, как докладчик, без всякого повода с моей стороны, обращаясь к собранию, говорит: «Товарищи, к нам приехал страшный оппозиционер, тов. Мясников, но мы не боялись и не боимся никаких страшных оппозиционеров и не испугаемся тов. Мясникова».

Я совершенно не склонен был в этот вечер выступать, но вызов сделан, надо ответить. И я сказал, обращаясь к собранию: «Товарищи, что бы я ни сказал и как бы я ни сказал, вы отнесетесь отрицательно. Если чихнет т. Зиновьев — чихнет скверно, то вы хором скажете — будьте здоровы, и похвалите, как

хорошо он чихает, а вот если я лучше, очень изящно чихну, то вы все хором загудите — ох, как он скверно чихает. Вот почему у меня нет желания говорить здесь. А насчет того, что я страшный оппозиционер, то можно сказать одно, что тов. Зиновьев кем-то напуган. Пугать же я никого не хочу, а сказать кое-что имею. И придет время — скажу, не побоюсь никаких застрашиваний».

Это было вступление к драке. Драка же была потом.

Зиновьев драки не выдержал. Два-три раза дали мне выступить на партийных собраниях, а дальше посредством всяких махинаций слова не давали.

Наконец, после одного собрания ответственных работников по вопросу о политическом изживании кронштадтского восстания репрессии усилились и стали явно принимать грязный характер: хотели подбросить уголовщину.

На этом собрании Зиновьев был особенно зол на меня, и было на что сердиться. Он делал доклад и после двухчасовой речи сделал конкретное предложение: Комарова^[96] из Губчека перевести в секретари Совета, Трилиссера^[97] из секретарей Совета перевести в Политпросвет, Равич^[98] перевести из отдела Управления в Наробраз и т.д. и т.п.

Я взял слово и спрашиваю собрание: «Товарищи, неужели петроградские рабочие бастовали потому, что Комаров, Трилиссер, Равич своими мягкими частями не те стулья давили? Неужели Кронштадт восстал потому, что Равич не то кресло занимала?»^[99]/.../

Зиновьев понял, что идейно бороться против меня он не в состоянии, если эту борьбу перенести в рабочие массы партии. И начинаются грязные шутики. /.../

Я увидел, что надо уехать из Петрограда. И уехал. А партийный комитет меня не задерживал.

В газетах, в сборниках Петрограда я поместил несколько статей, и теперь можно увидеть по ним, что в общих чертах программа Рабочей Группы сложилась еще тогда. /.../

XVI

ЦК меня на Урал не пускает. Послали меня, как метлу, в Наркомвнешторг, но я, наученный Петроградом, был настороже и, поглядев дня 2–3 на работающую там ашатию, решил, что выгнать всех мне не удастся, а выгнать надо, а если я их не выгоню, то какую-нибудь грязь прилепят. Я ушел, решив, что пусть в этой грязи купаются творцы ее.

Послали в Главтоп. Смилга, кривляющийся интеллигентик,

начинает разговор с матушки, полагая, что мне, как рабочему и каторжанину, это очень нравится. Такого же тона держался и Бухарин. Между своими товарищами я смеялся над их глупостью, над их ходом под мое рабоче-каторжное положение. /.../[100]

Я покинул [Урал]. А по приезде в Москву я был исключен из партии. Это было в 1922 году, 20 февраля. А 22 февраля 1922 года на собрании рабочей оппозиции принимается известная декларация, за подписью 22-х и подается в Коминтерн.

Троцкий был командирован драться против нас. И особенно большой шум подняли против моей подписи: «Мы его исключили из партии, а он не перестает играть свою роль в партии».

XVII

После этого я поехал в Мотовилиху, заручившись назначением меня заместителем директора завода. Здесь, не имея возможности принимать участия на партийных собраниях, я умел удержать большинство за собой: декларация 22-х была мотовилихинской партийной организацией одобрена. /.../

Но если у главарей организации Перми не хватило мужества выступить против меня на собрании, то они показали свою храбрость в другом месте. В 2 часа ночи батальон ГПУ занимает обе проходные завода (ворота) и ставятся пулеметы. Мобилизованы все силы и брошены на завод, чтобы подавить всякие протесты. И в это же время ко мне на квартиру приходят агенты ГПУ и, предъявляя ордер, арестуют меня и предлагают ехать на заготовленной для меня лошади.

Я не согласился, а позвонил на завод и потребовал лошадь с кучером и притом предложил агентам ГПУ ехать не «горками», а около линии железной дороги. Я был предупрежден старым товарищем, что ГПУ хочет меня «израсходовать случайно», и мне даже сказали, кто придет арестовывать меня, когда придут и где повезут.

Спутав все карты вызовом лошади, да еще с кучером и другим направлением дороги, я до ГПУ доехал благополучно.

Но ГПУ, получив от Сольца (секретаря ЦКК)[101] по прямому проводу указ не церемониться со мной, поняло его так, как и нужно понимать. И если не удалось по дороге, то они решили довести дело до конца «у себя».

И, очистив предварительно всю внутреннюю тюрьму ГПУ от всех заключенных, переведя их в губернскую тюрьму, они в дощатую, сколоченную из полудюймовых досок, стенку коридора пускают одну пулю за другой, три пули в мою камеру — как раз в

то место, где я обычно сидел и в уровень моей головы.

Но что-то подняло меня с этого места. За секунду и не больше до выстрелов я переместился, сошел с места, и тут раздается один выстрел за другим.

Открыли камеру и видят меня стоящим, целым и невредимым. Растерялись и спрашивают: «Что случилось, т. Мясников?»

Я отвечаю: «Ничего. Все в порядке. Только одно плохо, что стрелять не умеете».

Все ГПУ, а там было больше всего рабочих Мотовилихи, узнало о «случайных» выстрелах. Москва, информированная о происшедшем, дает приказ отправить меня в Москву.

Я голодал, не принимал ни хлеба, ни воды. А жене с годовалым ребенком на руках и беременной в стадии последних дней, сообщают, что я жив, здоров, спокоен и даже весел, но свидания не дают.

А когда слышали выстрелы, то один из товарищей бежит к ней и сообщает, что тов. Ильич застрелен.

Жена, взволнованная, бежит в ГПУ, а ей сообщают, что тов. Мясников отправлен в Москву. Этот ответ ей казался подтверждением вести о моем расстреле.

На 12-й день голодовки я был освобожден из внутренней тюрьмы ГПУ в Москве. /.../

XVIII

Рабочие массы Москвы бродили и искали. Наша рабочая оппозиция топталась на месте, ничего не предпринимая, не желая предпринимать.

Члены рабочей оппозиции один за другим приходили ко мне «поговорить». Все знали, что я член рабочей оппозиции, и все понимали, что есть между нами и официальным руководящим ядром разногласия.

Рабочая оппозиция в лице ядра: Шляпникова, Медведева и Коллонтай^[102] — считала, что я и наша группа являемся левой фракцией рабочей оппозиции. Но этим еще больше путали и без того запутанное положение. Если рабочая группа Мясникова есть фракция рабочей оппозиции, то что же такое рабочая оппозиция? Они ответа не давали. /.../^[103]

XIX

Дальнейший ход событий показал, как права была Рабочая Группа.

В 1923 году широкая волна стачек. За один год бастует не меньше 400–500 тысяч рабочих. Самые крупные из стачек: Москвы, Иваново-Вознесенска, Сормова, Донбасса и Урала проходят под влиянием Рабочей Группы. ^[104]

Это официально признано тогдашними вожаками Зиновьевым, Каменевым, Бухариным и К°, и даже оппозиционным Троцким. /.../

Троцкисты во главе с Троцким принимали во всех репрессиях ГПУ и ЦК самое деятельное участие и были наиболее рьяные клеветники и держиморды, желая доказать бюрократии, что они ни в каких рабочегрупповских грехах не повинны. /.../

XXI

Ранней весной 1927 года, после 3,5-летнего заключения в одиночках Московской, Томской и Вятской тюрем я был освобожден в ссылке в гор. Эривани.

7 ноября 1928 года, вышедши на демонстрацию в честь годовщины Ноябрьской Революции я домой не возвратился, а вошел в один из домов, сбрил усы, бороду, волосы, одел другой костюм и с портфелем, туго набитым рукописями, сел на извозчика и поехал на вокзал. А там купил билет до города Джульфа. И ждал поезда. Поезд опоздал на 2 ч. 30 м.

Тучи стали рассеиваться... Это нехорошо. Ночь будет светлая. Эх, темная ночь, выручай! Думаю: луна на ущербе и появится перед утренней зарей. Но лучше, если были тучи, ветер, дождик или снег и темно, темно. А нет. Ну, и пусть.

Приходит поезд. Сажусь. Тесно. Лезу на верхнюю полку. Удобнее и глаз меньше.

А около 12 часов ночи поезд проходил между станциями Дорожан-2 и Джульфа, и здесь на ходу я прыгнул с поезда и бегом к реке, чтобы, пользуясь прикрытием поезда и шумом, невидно и неслышно добежать до реки Араке. Спешно раздеваюсь, привязываю на голову портфель и одежду и в Араке. Вода жжет: холодная, ледяная. Шумит Араке, тучи ходят. Идет небольшой снежок. По руслу дует резкий ветер. Переплыл. ^[105] /.../

В апреле месяце 1930 года, благодаря стараниям товарищей Луи Селье и других, я получаю визу на въезд во Францию. 8 мая 1930 года я высадился в Марселе.

Декларация, написанная для прочтения
в Парижском суде и переданная защитнику
г. Кану, который ее не огласил

Еще в 1923 году меня, как оппозиционера, автора брошюры под названием «Манифест Рабочей Группы» и как организатора этой Рабочей Группы, выслали в Германию. Выслали тайно: на аэроплане. И только я вступил на немецкую землю, как в некоторых немецких газетах появляется заметка, что цареубийца Мясников в Берлине.

Кроме ГПУ, дать эту заметку никто не мог. Оно хотело руками белогвардейцев расправиться со мной, как с политическим противником. А белогвардейцы не замедлили начать охоту за мной. /.../

ЦК ВКП(б) и ГПУ настолько были встревожены моим побегом, что было вынесено специальное постановление о насильственном увозе меня из Персии в СССР (см. об этом «Воспоминания бывш. чекиста Агабекова»^[106]). Особенное внимание ГПУ приковывал мой портфель, наполненный моими работами. И вот начинается охота и за рукописями и за моей головой.

Дело не вышло. Я, обманывая бдительность агентов персидской полиции и ГПУ, нелегально отправил рукописи в одну сторону, а сам бежал в другую, — в Турцию.

Сидя в персидской полиции, я чувствовал, что ГПУ цепко схватило меня. И оказалось, что в «Новом Времени», органе монархистов в Белграде, за январь месяц 1929 года появилась статья под названием: «Злодейское убийство Михаила Романова». Значение этой статьи ясно: напугать персидскую полицию, что я опасный террорист, нечто вроде профессионального цареубийцы, и что шаху персидскому угрожает опасность, а с другой стороны — натравить белогвардейцев, чтобы они расправились со мной.

В Турции через своих агентов ГПУ пытается украсть у меня рукописи, написанные мною в Турции. Не удалось. Дело кончается арестом Ивана Железова, пытавшегося подкупить за 1000 турецких лир двух исполнителей.

По приезде в Париж я списался с друзьями и получил нелегально отправленные из Персии рукописи. Но ГПУ и здесь не оставило меня в покое: поместив в белогвардейских газетах заметки с призывом к расправе со мной, и после этого, через своих агентов Алексеева (из «Возрождения») и Палкина, ворует рукописи.

ГПУ знает, что первая мысль, которая может появиться у меня о виновниках исчезновения рукописей — это ГПУ. Чтобы отвести удар от себя, они через своего агента, Алексеева, направляют удар на «Возрождение», придумывая нелепую

историю, что хотели украсть несуществующие воспоминания об убийстве Михаила Романова, а в действительности украли все те рукописи, за которыми так упорно охотились в Персии и Турции.

Раскрытие следа, направляющее следствие в сторону «Возрождения», берет на себя Алексеев, рассчитывая, что после грозных замечок в «Возрождении» и бурцевского «Общего Дела», угрожающих расправой со мной, я не посмею через суд преследовать воров, иначе меня ждет неминуемая расправа.

Вышло иначе. Я не испугался угроз белогвардейцев и ГПУ и начал преследовать воров. Ясно, что вдохновителями белогвардейских газет «Возрождения» и «Общего Дела», неистово призывающих белых расправиться со мной, является ГПУ. /.../

Бурцев искренне убежден, что он использует Палкина и Алексева против меня, а в самом деле ГПУ, через Палкина и Алексева использует Бурцева для борьбы с оппозицией, представителем которой я являюсь.

В этом моем заявлении суд найдет, надеюсь, ключ того, почему я сразу верно указал адрес воров.

Считаю, однако, необходимым заявить следующее: если бы мне возвратили рукописи, я отказался бы от преследования воров.

Заключение

Мясников бежал из СССР. Это факт. И бежал под покровительство законов буржуазного государства. Допустимо ли это?

Допустимо ли пролетарскому революционеру обращаться в буржуазный суд для преследования воров рукописей?

Некоторые простачки, сплетники и политики делают изумленное, возмущенное лицо благородного революционера, когда они передают друг другу на ушко, что я прибег к помощи буржуазной юстиции в двух случаях: 1) Бежал из страны «пролетарской» диктатуры под покровительство законов буржуазного государства. 2) Захотел в этом буржуазном государстве использовать юстицию для преследования воров рукописей.

К сожалению, на удочку сталинцев и троцкистов попадают хорошие, честные пролетарские революционеры, не понимая того, что Мясников бежал в буржуазное, а не пролетарское государство не по воле, а по беде: ясное дело, я предпочел бы быть в пролетарском государстве, но такого пока нет на земле. Допустимо ли это? Допустимо ли преследовать воров рукописей

через эту буржуазную юстицию? Сталинцы хотели бы, чтобы они украли рукописи, а я в своем непротивленчестве злу превзошел Толстого и поблагодарил воров и главное — молчал.

Если взять за образец революционеров сталинского типа, то они руками персидской полиции держали меня в тюрьме (полиция Персии есть не буржуазная, а монархическая).

По проискам сталинцев, турецкая буржуазная юстиция приговаривает на 4 года тюрьмы за пропаганду.

Пронюхав про мой побег из Персии в Турцию, они внушают турецкому послу, что на территорию Турции в моем лице бежит английский шпион, по национальности армянин (используя известную национальную вражду турок против армян) и подают телеграмму мне вдогонку. Только случайное и не предвиденное мною самим изменение маршрута спасает меня от неминуемой расправы аскеров (пограничная турецкая стража).

В немецком консульстве пускают слух, что я английский шпион, а в английском, что я немецкий шпион, добиваясь отказа в визе, и многое, многое другое. Грязные клеветники и поганые лжецы ведь не брезгают никакими средствами, чтобы выкрасть рукописи: натравливают белогвардейцев, входят в открытый союз и совместно воруют их и, разумеется, хотят, чтобы никто этого не знал, и таинственно в благородном возмущении шепчут: «Какой же этот Мясников преступник, что вздумал обратиться против нас к помощи буржуазной юстиции».

Надеюсь, что это прояснит головы некоторых «благородных» революционеров.

Я бежал из СССР по постановлению Временного Центрального Организационного Бюро Рабочей Коммунистической партии СССР (нелегального, разумеется), и за все свои действия ответственен перед ним, что ни в какой мере не лишает товарищей всех стран права сказать свое мнение о правильности или неправильности как постановления ЦБ, так и моего поведения.

Пишу эту маленькую биографическую справку для того, чтобы уничтожить возможность сплетен, дрызг, клеветы, которые распускают идейно немощные, бессильные к идейной борьбе сталинцы и троцкисты, которых очень внимательно слушают падкие до сплетен «революционеры», развесив свои ослиные уши.

Пусть сплетники выходят на свет, в печать и повторяют то, что они рассказывают тайком, за уголком. Особенно это надо знать тем, кто называет себя «сыновьями и дочерьми русской революции», не имея ни к одной из 3-х революций никакого отношения.

[1931]

ЦА ФСБ РФ. Арх. № Н-17674. Т.2. Л.323–381.

Из протокола допроса Г.И.Мясникова

18 января 1945

/.../Вопрос: Вследствие каких причин вы бежали за границу?

Ответ: Начиная с 1920 года я, имея разногласия с Центральным Комитетом РКП(б) по вопросам определения сущности пролетарского государства, диктатуры пролетариата и пролетарской демократии, проводил нелегальную фракционную борьбу, выразившуюся в создании так называемой «Рабочей группы».

Организация этой группы, по мысли ее руководителей, должна была перерасти в легальную партию, могущую противопоставить себя РКП(б) и повести с ней борьбу в новых условиях легального существования.

К концу 1922 г. «Рабочая группа» организационно оформилась. Это нашло свое выражение в создании «Центрального бюро» и опубликовании «Манифеста», автором которого являлся я — Мясников, принятого за платформу нашей оппозиционной группы. Уже позднее «Центральное бюро» издавало свой печатный орган «Рабочий путь к власти», нелегально распространявшийся в СССР, особенно в городах, где рабочая группа имела некоторое влияние, как то: Москве, Ленинграде, Харькове и Нижнем Новгороде.

За проводимую мною нелегальную фракционную работу я неоднократно подвергался репрессиям со стороны органов советской власти и последняя мера наказания мне была определена — ссылка в Ереван.

Будучи несогласным с политикой, проводимой Советским правительством и ЦК ВКП(б), а также желая избежать дальнейших репрессий, я решил бежать за границу.

Вопрос: Расскажите, как проходила подготовка к побегу?

Ответ: В начале 1928 года после нелегального издания моей брошюры «Что такое рабочее государство», в Москве состоялось тайное заседание «Центрального бюро рабочей группы». На заседании было принято решение, обязывающее меня во избежание ареста за издание брошюры бежать за границу и выполнять функции заграничного представителя этого бюро.

Вопрос: Из каких источников вам стало известно о состоявшемся решении, ведь вы находились в Ереване?

Ответ: Об этом решении мне рассказал прибывший по

поручению «Центр[ального] бюро» для встречи со мной Кузнецов Николай (отчество не помню) /.../

Вопрос: По каким вопросам вы допрашивались в политической полиции в Тегеране?

Ответ: Чиновник полиции допрашивал, главным образом стремясь выяснить мотивы, побудившие меня бежать из СССР, задавая наводящие вопросы, не являюсь ли я агентом ГПУ. Я отверг его предположения, доказывая, что это несовместимо с той политической позицией, которую я занимал в отношении руководства ВКП(б). Я документально доказал, что являюсь ссыльным и последнее время проживал в Ереване.

На допросе я требовал своего освобождения из-под стражи и предоставления мне возможности выехать из Персии.

Вскоре в полиции мне было сообщено, что германским правительством мне разрешен въезд в Германию. Для оформления документов я просил препроводить меня в немецкое консульство, где мне в визе было отказано по представлению советского посла. Тогда я решил бежать из-под стражи. В этих целях я попросил отпуск на 24 часа с целью, якобы, оформить свой выезд из Персии через одно из иностранных представительств. В сопровождении полицейского я дошел до советского посольства и зашел туда один, т.к. полицейский на это права не имел. В беседе с советским консулом я сообщил ему, что, якобы, имею намерение возвратиться в СССР, чего в действительности не было. Из посольства вышел другим ходом и, таким образом, я ушел от персидской охраны и создал видимость у советских представителей моего намерения, якобы, возвратиться в СССР.

Вопрос: Находясь в Иране, с какими лицами или антисоветскими организациями вы устанавливали связь?^[107]

Ответ: Я послал телеграмму Троцкому в Стамбул и председателю немецкого рейхстага с сообщением, что я нахожусь под стражей в Тегеране и прошу оказать мне помощь. **Вопрос:** Вам Троцким была оказана помощь? **Ответ:** Нет. Уже позднее, будучи в Турции, от его сына Седова я узнал, что последний по поручению Троцкого послал на мое имя в Тегеран письмо и деньги, которые по распоряжению персидских властей были возвращены в Стамбул, где проживал в то время Троцкий.

Кроме того, я заходил в чехословацкое представительство и, встретив знакомого мне ранее по совместному пребыванию в Ростовской тюрьме сотрудника посольства, б.эсера (фамилию его забыл), я передал ему мои рукописи для дальнейшего направления их в исторический архив гор.Праги.

Вопрос: Как долго вы находились на нелегальном положении

в Персии?

Ответ: После того, как ушел от преследования персидской полиции, я решил воспользоваться поддержкой знакомого мне по совместному пребыванию в полиции депутата меджлиса (фамилию его не помню). Он был арестован за сопротивление реформе шаха Пехлеви и до моего побега был освобожден. Он меня снабдил деньгами и дал проводника. В этот же день я уехал из Тегерана и при помощи переправщиков в июне 1929 года достиг турецкой границы /.../

/.../**Вопрос:** Нам известно, что будучи в Турции вы установили связь с Троцким. Почему вы об этом «умалчиваете»?

Ответ: Не скрываю, что в Турции я встречался с Троцким.

Вопрос: Покажите, при каких обстоятельствах вы установили с ним связь.

Ответ: По прибытии в Стамбул в полиции с меня взяли подписку, что на территории Турции я не буду заниматься какой-либо политической деятельностью и обязуюсь в ближайшее время покинуть пределы страны. Будучи в полиции, я осведомился, по какому адресу проживает Троцкий. Чиновник полиции рассказал мне, как найти Троцкого, и я направился по указанному адресу. В тот же день я встретился с Троцким в доме, где он проживал.

Вопрос: С какой целью вы встретились с Троцким?

Ответ: Я находился в крайне тяжелом материальном положении и рассчитывал получить от Троцкого некоторую поддержку.

Вопрос: Очевидно, не только получить материальную поддержку, а и установить контакт по вражеской работе против СССР?

Ответ: Я не хотел какого-либо организационного и идейного блока с Троцким, так как он неприязненно относился к руководителям «рабочей группы» и лично ко мне — Мясникову.

Вопрос: Тем не менее по приезде в Стамбул вы поспешили связаться с ним. Скажите, о чем вы говорили с Троцким?

Ответ: Троцкий принял меня в своем рабочем кабинете весьма высокомерно. В беседе с ним я рассказал о преследованиях меня турецкой полицией, а также о своих материальных затруднениях и просил Троцкого оказать мне содействие в получении визы на выезд из Турции в Западную Европу. От содействия в получении визы Троцкий отказался. В связи с тем, что я не имел квартиры, Троцкий предложил мне на некоторое время остаться у него. В квартире Троцкого я прожил несколько суток.

Вопрос: А вопросы антисоветской работы разве вы не обсуждали с Троцким?

Ответ: В самом начале беседы Троцкий предупредительно заявил мне, что он не намерен обсуждать со мной какие-либо политические вопросы и поэтому на эту тему у нас разговора не было.

Вопрос: Вы показываете неправду. Являясь непримиримыми врагами ВКП(б) и будучи объединены чувством ненависти к советской власти, вы не могли обойти молчанием вопроса своей предательской работы против советского государства. Показывайте правду, о чем вы договорились с Троцким?

Ответ: Повторяю, что при встречах с Троцким политических вопросов мы не касались. Беседовали, главным образом, по вопросам, не имеющим отношения к нашей борьбе с ВКП(б). Троцкий больше говорил со своим сыном Седовым^[108] и секретарем Франк о рыбной ловле и охоте и никаких суждений по вопросам политического характера в моем присутствии не высказывал.

Вопрос: Напрасно вы пытаетесь свои переговоры с Троцким о планах совместной борьбы против советской власти представить как бытовательский разговор о рыбной ловле и охоте. Предлагаем говорить правду. /.../

Ответ: Поддерживать связь с Седовым, а через него и с Троцким меня заставило критическое положение, в котором я оказался в Турции. Дело в том, что в Турции, кроме них, я никого не имел знакомых и поэтому, несмотря на политическую и личную неприязнь к Троцкому, я не хотел порывать связь.

Все мои встречи с Седовым носили личный характер и только в одну из встреч я предложил ему сообщить Троцкому о моем намерении написать статью по вопросу позиции «рабочей группы» в случае вооруженного столкновения СССР с буржуазными государствами и напечатать ее в бюллетене, издаваемом Троцким.

Вопрос: Как реагировал Троцкий на ваше предложение?

Ответ: Как сообщил мне Седов, Троцкий отказался напечатать полностью мою статью и предложил написать по этому вопросу краткое письмо в редакцию, но я не согласился.

Вопрос: Сколько вы имели встреч с Седовым?

Ответ: С Седовым я встречался довольно часто, но эти встречи, как я уже показал, носили бытовой характер. Я помогал Седову производить закупку продуктов для семьи Троцкого, и за это получал вознаграждение.

Вопрос: Известно, что Троцкий оказывал вам материальную поддержку не только за «хозяйственные услуги». Покажите, на какие расходы финансировал вас Троцкий.

Ответ: От Троцкого я получал деньги всего два раза и

незначительные суммы. Первый раз он дал мне на личные нужды 10 долларов и второй раз, перед моим отъездом во Францию — 25 долларов.

Вопрос: А на антисоветскую работу разве вы не получали от него субсидий?

Ответ: Нет, не получал. /.../

Вопрос: Известно, что, будучи в ссылке, вы развернули активную антисоветскую работу. Покажите подробно о своей вражеской работе в г.Ереване.

Ответ: Находясь в ссылке в Ереване, я написал брошюру «Что такое рабочее государство», закончил писать начатую мной в Томском изоляторе книгу «Критика теории и практики ВКП(б) и Коминтерн» и брошюру «Очередной обман». В своих книгах и брошюрах я подвергал критике теоретические и практические установки ВКП(б) и Коминтерна. Обвинял ЦК ВКП(б) и Советское правительство в том, что они отошли от принципов пролетарской революции и взяли курс на установление государственного капитализма в стране. Я утверждал, что рабочий класс СССР политически бесправен, и обосновывал программные требования «Рабочей группы». /.../ Большинство книг, написанных мной, по техническим причинам остались не изданными. И только брошюру «Что такое рабочее государство» я лично сам сумел нелегально отпечатать на гектографе в количестве 200 экземпляров. Несколько экземпляров этой брошюры я распространил среди рабочих гончарного завода в Ереване, путем подкладывания брошюр в местах наибольшего скопления рабочих, например, у проходной будки завода.

Большая часть этих брошюр была разослана мной по почте в адрес завкомов следующих заводов: Мотовилихинского, Лысьвенского, Чусовского, Леснера в Ленинграде и других. Таким путем мною было распространено около 150 экземпляров, а остальные я уничтожил перед своим побегом за границу. Несколько книг я передал приезжавшему ко мне из Москвы Кузнецову для центрального бюро «Рабочей группы».

Вопрос: Связь с центральным бюро вы поддерживали не только через Кузнецова, а и через других лиц? Расскажите об этом.

Ответ: Моя связь с членами центрального бюро «Рабочей группы» носила эпизодический характер. В Ереван приезжали из Москвы активисты «Рабочей группы», которые информировали меня о своей нелегальной работе. Я, в свою очередь, через них передавал свои установки членам бюро «Рабочей группы».

Вопрос: Назовите фамилии активистов «Рабочей группы»,

приезжавших к вам в Ереван. **Ответ:** Я помню только одного Кузнецова Н.В.

Вопрос: Вы опять пытаетесь скрывать от следствия своих соучастников по вражеской работе. Настаиваем на том, чтобы вы назвали всех лиц, связанных с вами по нелегальной антисоветской работе в период вашей ссылки в Ереване.

Ответ: Не отрицаю, что ко мне в Ереван по делам «Рабочей группы» кроме Кузнецова, приезжали и другие лица, но прошу поверить, что фамилии их я сейчас не помню.

Вопрос: Приезжали не только связники-одиночки, но целые группы руководящих участников нелегальной «Рабочей группы»?

Ответ: Признаю, что такой случай однажды имел место.

Вопрос: Когда?

Ответ: Летом 1927 года ко мне в Ереван одновременно приехали несколько членов центрального бюро «Рабочей группы», и я провел с ними конспиративное совещание.

Вопрос: Сколько членов бюро присутствовало на этом совещании?

Ответ: Вместе со мной пять членов центрального бюро.

Вопрос: Назовите их.

Ответ: Кроме себя, я могу назвать только Тиунова Сергея. Остальных участников совещания я назвать отказываюсь.

Вопрос: Почему?

Ответ: По своим этическим соображениям.

Вопрос: Что это за «этические» соображения?

Ответ: Я могу рисковать своей головой и отвечать за свои поступки, выдавать же других лиц и подвергать их возможным репрессиям со стороны советских органов я не хочу. Если на прошлых допросах и сегодня я называл некоторых своих соучастников по оппозиционной работе, то это делал потому, что [они], кажется, известны органам следствия.

Вопрос: Почему вы полагаете, что остальные активные участники «Рабочей группы» и, в частности, члены центрального бюро, не известны органам государственной безопасности?

Ответ: Насколько мне было известно, ранее они не подвергались репрессиям со стороны органов советской власти, и я предполагаю, что в настоящее время они находятся на свободе и вне всяких подозрений о прошлой связи со мной.

Вопрос: Чем вы занимались в Париже в первое время?

Ответ: Вскоре после приезда в Париж я познакомился с издателем редакции анархо-синдикалистской газеты «Рабочий коммунист» Прюдомо, а через него, в свою очередь, познакомился с неким Жигулевым-Ирининым.

Жигулев-Иринин в то время являлся небольшим

предпринимателем по чистке стекол (витрин) в магазинах и устроил меня к себе на работу.

Вопрос: Известно, что с Жигулевым-Ирининым вы были связаны не только как с «предпринимателем», но сотрудничали с ним в активной подрывной работе против советского государства. Вот об этом, в первую очередь, вы и показывайте.

Ответ: Жигулев-Иринин (имя, отчество — не помню) работал сотрудником советского полпредства в Берлине, с 1927 г. — невозвращенец, по своим политическим убеждениям — анархист. В Париже он редактировал газету «Путь труда». Еще до моего приезда в Париж в этой газете были помещены две моих статьи, написанные мной еще в Турции и посланные оттуда во Францию. Будучи в Париже, первое время я имел в виду сотрудничать с Ирининым в этой газете, однако вскоре между нами обнаружились разногласия, и я порвал с ним всякую связь. Дело в том, что Жигулев-Иринин казался мне весьма подозрительным человеком, и я считал его агентом Французской полиции, или, во всяком случае, связанным с какой-либо белогвардейской организацией. Он настойчиво предлагал мне познакомиться с известным белоэмигрантом Бурцевым, в то время как сам Бурцев в издаваемой им газете

«Общее дело» поднял против меня «шумиху», обвиняя в организации убийства Михаила Романова. Эта кампания была подхвачена всей белогвардейской печатью, и я вынужден был не только не встречаться с Жигулевым-Ирининым, но и скрываться у своего знакомого француза Вальдпюржера, у которого прожил около полугода, не выходя с квартиры. Только в начале 1931 г. я сумел устроиться на работу слесарем у владельца мастерской Дюрко.

Вопрос: Будучи за границей, вы имели связи в СССР и по вражеской работе. Говорите об этом.

Ответ: Какой-либо связи с «центральным бюро» «Рабочей группы» у меня не было. Припоминаю, что в 1931 г. в адрес завкома Пермского пушечного завода (Мотовилиха) я посылал по почте свою брошюру «Очередной обман». Брошюра была написана мною еще во время пребывания в ссылке в гор. Ереване и отпечатана на мои личные средства в 1931 г. в Париже. В этой брошюре я пытался доказать, что в Советском Союзе отсутствует пролетарская демократия и советское государство превратилось в государство капиталистическое. Я писал, что государственную власть в России захватила партийно-советская бюрократия и призывал к уничтожению этой бюрократии.

Вопрос: Прямо говоря, вы призывали к свержению существующего в СССР строя?

Ответ: В брошюре «Очередной обман» я заявлял о необходимости проведения коренных реформ в СССР и, в частности, об устранении Совнаркома, сравнивая его с советом министров буржуазного государства. Я писал также, что необходима амнистия всем политическим заключенным, арестованным за антисоветскую работу, а также указывал на необходимость уничтожить судебные функции ГПУ и развивал другие, направленные против РКП(б) и советского государства взгляды.

Вопрос: Еще кому в СССР вы посылали антисоветскую литературу?

Ответ: Больше никому в СССР я подобных посылок не делал. Свою брошюру «Очередной обман», которая была отпечатана тиражом в тысячу экземпляров, я распространял только за границей.

Вопрос: Каким путем?

Ответ: Вначале я пытался предложить продать ее через один из белогвардейских магазинов в Париже, но получил отказ и после этого решил распространять брошюру лично сам. Мне удалось продать всего лишь несколько десятков экземпляров. Несколько экземпляров я направил в адрес «Рабочей коммунистической партии» — в Германию, «Конгрессу производственных союзов» в Америку, «Независимой рабочей партии» в Англию и несколько экземпляров послал в Бельгию.

Кроме того, несколько брошюр мной были переданы руководителям анархо-синдикалистского движения во Франции, с которыми к тому времени у меня установился личный контакт.

Вопрос: С кем конкретно?

Ответ: Я познакомился с издателями анархо-синдикалистского журнала «Пролетарская революция» — Робер Лузоном и был знаком с руководителем анархо-синдикалистской группы — Пьер Монатом. Лузон и Монат оказывали мне содействие в устройстве на работу. Оба они, как анархо-синдикалисты, по своим политическим взглядам были близки ко мне, и я поддерживал с ними дружеские отношения. С 1931 г. я принимал участие в общественной жизни французских анархо-синдикалистов и являлся членом «унитарной конфедерации труда».

Кроме того я был в хороших отношениях с бывшим генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Франции Треном, находившимся в оппозиции к Коминтерну и к руководству ЦК Компартии Франции. Нас сближала идея создания «рабочего интернационала». Я передал ему написанную мною еще в Турции платформу и устав будущего

интернационала, который, по моим замыслам, должен объединить все течения в международном рабочем движении, находящиеся в оппозиции к 3-му Интернационалу. Мой проект был переведен Треном на французский язык, отпечатан на ротаторе и распространялся во Франции. Несколько экземпляров этого проекта Треном были направлены в Германию, Бельгию и Америку.

Должен сказать, что мы пытались создать центр связи между всеми оппозиционными группами, не входящими в Коминтерн, однако, в конечном итоге, ничего не получилось. /.../

В 1934 г. мною было написано и отпечатано типографским способом две тысячи экземпляров обращения к французским рабочим. В своем «обращении» я писал о терроре в Советском Союзе и о массовых преследованиях оппозиционеров за нелегальную работу. В «обращении» я писал, что бывший редактор печатного органа «Рабочей группы» «Рабочий путь к власти». Тиунов Сергей, в течение шести лет находится под стражей и томится, как я указывал, в камерах ГПУ. В этом «обращении» я выступал против ВКП(б) и Советского государства и призывал рабочих требовать освобождения Тиунова из-под стражи.

Вопрос: Кто являлся источником клеветнической информации о Советском Союзе, которую вы использовали при составлении «обращения»?

Ответ: О том, что Тиунов Сергей арестован органами ГПУ, мне рассказал бежавший из Советского Союза бывший работник ЦК ВКП(б) Волынцев. Кроме того, я беседовал с бельгийским подданным, ранее работавшим в Москве и также бежавшим из СССР анархо-синдикалистом «Лазаревичем». Сведения, полученные из бесед с этими лицами, мною и были использованы при составлении «обращения» к французским рабочим. 1500 экземпляров этого «обращения» было распространено среди анархо-синдикалистских профсоюзов во Франции. 400 экземпляров обращения было конфисковано у меня при обыске французской полицией.

Вопрос: А куда были направлены остальные 100 экземпляров?

Ответ: Возможно, что я посылал их для распространения в других странах, но сейчас этого припомнить не могу.

Вопрос: В Советский Союз посылали?

Ответ: Насколько мне память не изменяет, посылал в Пермь, в адрес завкома Мотовилихинского завода. Я рассчитывал, что в Мотовилихе сохранились мои старые оппозиционные связи и посылаемое мной «обращение» к французским рабочим встретит

известное сочувствие и поддержку.

Должен сказать, что за издание этого «обращения» в 1934 г. я был арестован французской полицией, меня обвиняли в том, что я вмешиваюсь во внутренние дела Франции и было вынесено постановление о высылке меня из пределов страны. Я был освобожден из-под стражи с предложением в течение трех суток выехать из Франции. Этого решения я не выполнил и скрывался у своего знакомого Анри Баре.

Затем, спустя два месяца, по ходатайству генерального секретаря «всеобщей конфедерации труда» Жуо, решение о высылке меня из Франции было отменено. В 1934 г. из Парижа я выехал в гор. Куломье и устроился там работать на строительстве клиники У доктора Ранье Арбельтье и проработал у него до 1936 г. В 1936 г. вернулся в Париж.

Вопрос: Где вы устроились на работу по возвращении в Париж?

Ответ: Я поступил рабочим на международную выставку и работал там до 1937 г. В этот период времени я работал над книгой «Победа и поражение рабочего класса в СССР или кто предал Октябрь — Ленин? Троцкий? Сталин?» Эта книга мною была написана, но издать ее я не сумел. Если следствие найдет нужным, я могу изложить содержание этой книги.

Вопрос: Ваше враждебное отношение к Советскому государству и клевета на ВКП(б) достаточно хорошо известны и поэтому нет необходимости останавливаться на изложении клеветнического содержания вашей книги. Покажите, чем вы занимались в последующее время?

Ответ: После окончания строительства французского павильона на международной выставке, я некоторое время был без работы. В 1938 г. я устроился на работу на фабрику «Люстра» по окраске и выделке мехов, но через полгода оказался без работы. В конце 1938 г. я устроился работать в качестве слесаря к частному предпринимателю в мастерскую по изготовлению различных приспособлений для метро. В это время мною была закончена работа над книгой по вопросу перерастания буржуазной революции в социалистическую; «Хроника рабочего движения в Мотови-лихе». Должен оговориться, что в этой книге я не допускал никаких выпадов против ВКП(б).

Вопрос: Не хотите ли вы этим сказать, что вообще прекратили свою подрывную работу против СССР?

Ответ: К этому времени я прекратил свою борьбу против ВКП(б) и никаких действий в этом направлении не предпринимал.

Вопрос: Неправда, будучи непримиримым врагом Советской

власти, вы вели активную подрывную работу против Советского государства до последнего времени. Не пытайтесь скрывать что-либо от следствия, а показывайте правду!

Ответ: Я ничего не скрываю от следствия и показываю только правду. О своей борьбе против ВКП(б) я показал все и мне больше нечего говорить.

Вопрос: «Нечего говорить», потому что хотите скрыть свою связь с иностранными разведками, по заданию которых действовали против СССР?

Ответ: Я никогда никакой «связи с разведками» не имел и показывать мне об этом также нечего. Прошу поверить мне, что последний период времени я не только не проводил какой-либо работы против Советского государства, а, наоборот, в условиях войны считал необходимым прекратить всякую борьбу против, ВКП(б) и в среде французских рабочих высказывался за необходимость ориентироваться на Советский Союз.

Вопрос: Вы пытаетесь выдавать себя за патриота Советского государства. Вам это не удастся. Лучше расскажите, чем вы занимались во Франции при немцах?

Ответ: При немцах я некоторое время работал слесарем в мастерской по изготовлению различных металлических приспособлений для метро, а потом в начале 1941 г. был арестован.

Вопрос: При каких обстоятельствах и за что арестовали вас немцы?

Ответ: 23 июня 1941 г. я решил посетить Советское посольство в Париже с целью получить разрешение на въезд из Франции в СССР, или, в крайнем случае, предложить свои услуги Советским властям. В это время посольство было занято уже немцами, которые меня и арестовали. На вопрос немцев, с какой целью я посетил здание Советского посольства, я ответил, что в Советском Союзе проживают три моих сына призывного возраста и поэтому я решил обратиться в посольство с целью справиться об их судьбе. После проверки моих документов, немцы освободили меня, взяв обязательство — ежедневно посещать Гестапо с целью регистрации. Под таким наблюдением я находился в течение трех месяцев, а потом от регистрации я был освобожден.

Вопрос: Очевидно, немцы взяли от вас обязательство не только посещать Гестапо, но и сотрудничать с ними?

Ответ: Нет, такого обязательства я немцам не давал и не мог дать, так как был настроен против них. До июля 1942 г. я продолжал работать в качестве слесаря на производстве, а потом бежал на неоккупированную зону Франции в Тулузу. Через месяц после прибытия в Тулузу я был арестован французской полицией.

Вопрос: За что?

Ответ: Как мне объяснили в полиции, арест мой был вызван тем, что в 1934 г. я подлежал высылке из Франции как иностранец. Но когда я предъявил соответствующий документ о том, что это решение было отменено, тогда полиция предъявила мне новое обвинение в том, что я террорист.

Вопрос: О чем вас допрашивали в полиции как «террориста»?

Ответ: Меня допрашивали всего один раз, а затем я был направлен в концлагерь в районе гор.Тулузы. В этом лагере я содержался 7 месяцев и в апреле 1943 г. вместе с другими заключенными был этапирован в 4 немецкий лагерь «Сулак», расположенный в 90 километрах от Бордо. В августе 1943 г. я бежал из этого лагеря в Париж, где проживал на нелегальном положении до освобождения Парижа от немцев.

Вопрос: Об обстоятельствах ареста вас немцами и французской полицией, а также о своем пребывании в концлагерях вы явно путаетесь и, очевидно, пытаетесь скрыть свою предательскую работу во Франции в период немецкой оккупации. На следующих допросах вам необходимо рассказать об этом правду. /.../

Вопрос: Чем вы занимались после освобождения Парижа от немцев?

Ответ: Я продолжал работать слесарем на заводе «Вербур и Дюрюшар» по изготовлению металлических приспособлений для парижского метро. 27 ноября 1944 года я прекратил работу в связи с моим предполагаемым выездом в Советский Союз.

Вопрос: Являясь непримиримым врагом Советского государства, вы приняли решение выехать в Советский Союз. Скажите, с какими намерениями вы решили приехать в СССР?

Ответ: Я предполагал работать в Наркоминделе или же в одной из центральных газет в качестве корреспондента.

Вопрос: А что вы предполагали делать в плане борьбы против Советской власти?

Ответ: Разрешение выехать мне в Советский Союз я рассматривал как легализацию «Рабочей группы», которая в легальных условиях сможет проводить свою оппозиционную деятельность. На первых порах я мыслил издать журнал, который явился бы органом, объединяющим все сочувствующие моим идеям элементы, подготавливая тем самым базу для организации второй партии.

Вопрос: О какой второй партии вы говорите? **Ответ:** Будучи в Советском Союзе, я мыслил себе создать вторую партию на основе манифеста «рабочей группы», написанного мною еще в 1923 году. По моим планам эта партия должна была «конкурировать» с

ВКП(б) во всех общественно-государственных организациях Советского Союза, как то: Советы, профсоюзы, кооперация. В качестве примера предполагаемой формы управления СССР, на который я опирался, служила двухпартийная система управления США. На опыте борьбы двух политических партий в Америке, демократической и республиканской, я полагал, что в СССР смогут также учредиться две партии — ВКП(б) и вторая партия, во главе которой стоял бы я —

Мясников. Эта партия выступала бы по всем вопросам против ВКП(б).

Вопрос: На какие элементы вы рассчитывали опираться при организации этой партии?

Ответ: Я рассчитывал, главным образом, на те элементы из рабочего класса и крестьянства, которые примут нашу программу.

Вопрос: А точнее?

Ответ: В первую очередь я предполагал опереться на остатки «Рабочей группы» и на все элементы, в том числе из членов ВКП(б), которые могли бы примкнуть ко мне после опубликования воззвания.

Вопрос: Какого воззвания?

Ответ: Воззвания, извещающего о легализации нашего течения «Рабочей группы».

Вопрос: С кем конкретно из ваших прошлых антисоветских связей вы предполагали установить контакт?

Ответ: Это показала бы моя будущая практическая деятельность, и назвать фамилии я сейчас не могу, так как с 1928 г. проживал за границей и никакой связи с какими-либо нелегальными антисоветскими организациями не имел. /.../

notes

Примечания

Ср. напр.: Чернявский М.М. В Боевой Организации // Каторга и ссылка. 1930. №7. С.7–39; №8/9. С.26–65; Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Т.1–2. М., 1964.

Записка Я.М.Юровского хранится: ГАРФ. Ф.601. Оп.1. Д.35; запись беседы с Г.Никулиным о расстреле Романовых: РЦХИДНИ. Ф.558. Оп.3. Ед.хр.14; воспоминания А.В.Маркова: ГАРФ (ЦГА РСФСР). Ф.539. Оп.5. Д. 1552; ГАНИ Г.Пермь. Ф.90. Оп.2. Д.М-6. О публикациях на основе этих текстов см. ниже.

См. напр.: Школьник М.М. Жизнь бывшей террористки. М., 1930; Ивановская П.С. В боевой организации. М., 1928; Рутенберг П.М. Убийство Гапона: Террористический акт над самарским губернатором // Каторга и ссылка. 1924. №1.

С большой степенью уверенности можно утверждать, что на совести Мясникова расстрел пермского архиепископа Андроника, расстрелы бывшего начальника Мотовилихинского завода Темникова, его сына-офицера, инженера Иванова (зав. снарядным цехом №3) — см.: Литературная Россия. 1990. 21 сент. С. 19. В конце 1918 перед падением Перми Мясников был председателем Мотовилихинского ВРК, а именно этот орган совместно с ЧК принимал решения о казнях.

Часто употребляемый Мясниковым эвфемизм для обозначения несанкционированного убийства. По тому же принципу построено употребление «термина» «лететь» («меня летели»), часто встречающегося в переписке Мясникова и его близких (см. ниже).

Писал ли нечто подобное Мясников (т.е. мемуары в общепринятом смысле), остается неясным. Путаницу в этот вопрос вносят, в первую очередь, записки Л.Тарасова (В оккупированном Париже: Воспоминания генконсула 1940–1941 // Огонек. 1966. №8. С.23–24). Если верить Тарасову, посетивший его Мясников передал ему некую рукопись и, среди прочего, заявил: «В этой папке мои воспоминания, вернее, описана вся моя жизнь. В ней не хватает только сегодняшнего дня и моего разговора с вами /.../ увидите, себя я не очень оправдываю, других не слишком обвиняю». Из показаний Мясникова на следствии в 1945 мы знаем, что в том же 1940 (если он не путает даты) им была послана Сталину «Философия...». В Справке на Мясникова, составленной в НКГБ СССР 5 октября 1944 — т.е. когда решался вопрос о завлечении нашего героя в СССР, — сказано: «Перед войной 1939 года Мясников явился в советское консульство в Париже /.../ он передал письмо на имя тов. Сталина и рукопись подготовленной им к изданию на французском языке книги». В другой, почти идентичной Справке, составленной 29 декабря 1944, эта фраза продолжена: «...которая была написана в критических тонах, в духе рабочей оппозиции и недоверия к вождям ВКП(б). Рукопись эта в день нападения Германии на Советский Союз вместе с другими документами была уничтожена в Берлине». Ср. у Тарасова: «Я взял его объемистую рукопись. Однако отправить ее в Москву мне не удалось, и она была уничтожена со всей дипломатической почтой в первый день войны, 22 июня 1941 года в Берлине». На одном из допросов 1945 Мясников сообщил: «в это время [в 1938] мной была закончена работа над книгой по вопросу перерастания буржуазной революции в социалистическую: «Хроника рабочего движения в Мотовилихе». Должен оговориться, что в этой книге я не допускал никаких выпадов против ВКП(б)».

В описи изъятия, составленной при аресте Мясникова (17 января 1945), среди прочих рукописей фигурирует некий «печатный материал на иностранном языке на 352 листах» (уничтоженный впоследствии вместе с большей частью других Мясниковских рукописей). Все изложенное не позволяет однозначно судить о существовании, кроме «Философии...», других значительных мемуарных текстов Мясникова.

Дискуссионный материал: Тезисы тов. Мясникова, письмо тов.Ленина, ответ ему, постановление органис. [так! — Публ.] бюро Цека и резолюция мотовилихинцев. М., 1921. С.34.

ЦА ФСБ РФ. Арх. №Н-1794. Т.9. Л. 185.

Бурцев В.Л. К ответу убийцу! // Общее дело (Париж). 1930. 20 сент. №8. С.1, 3; 1931. 15 янв. №9. С.1, 5.

См. Приложение 1 (Из Автобиографии Мясникова).

Дело по обвинению Мясникова Г.И. и др. — ЦА ФСБ РФ. Арх.
№Н-1794. Т.6. Л.270.

Miasnikoff G. La voie ouvriere vers le pouvoir [Обращение к французским рабочим]. Paris, 1934.

См.: Дело по обвинению Мясникова Г.И. — ЦАФСБ РФ. Арх.
№Н-17674. Т.2.

Склонность к мистификациям Мясников обнаруживает и в других случаях. Находясь в Берлине в 1923, многократно преувеличивает местным левым численность, а отсюда — и значимость «Рабочей группы» (правда, тут он был введен в заблуждение своим другом и соратником Н.В.Кузнецовым). Переход из Ирана в Турцию весь построен по канонам авантюрного романа (при побеге из СССР использовался лишь невинный маскарад — женское платье) — были «разыграны» и местные власти, и советское консульство. Если верить рассказу Романа Гуля, в котором Мясников именуется Григорием, то можно предположить, что объектом мистификации в Париже стал Б. И. Николаевский — Мясников разыграл перед ним роль ультраконспиратора (см.: Гуль Р. Я унес Россию. Т.2: Россия во Франции. Н.-Й., 1984. С.217–221). Если ничего не путает в своих воспоминаниях Л.Тарасов, то Мясников разыграл и его, рассказывая о своей жизни в Казахстане и подготовке к бегству в Синцзян (!).

Информация, приведенная Р.Пайпсом (без указания на источник) во 2-м томе «Русской революции» (М., 1994. С.454), не может нами рассматриваться как достоверная: «Мясников в 1921 г. был исключен из партии за агитацию в пользу свободы мнений и в 1923 г. арестован. В 1924 или 1925 г. он появился в Париже, где торговал рукописью с описанием убийства Михаила». Приведенные слова вынесены Пайпсом в сноску. Здесь три хронологические ошибки (Мясникова исключили из партии в 1922, он не «появлялся» в Париже ни в 1924, ни в 1925 и в первый раз арестован он был хоть и не вполне «за агитацию в пользу свободы мнений» — пусть так! — но в 1922). Единственное же, что можно предположить об источнике утверждения о торговле «рукописью с описанием убийства», это то, что мы имеем дело с искаженным отголоском истории с кражей Мясниковских бумаг в Париже в 1930: на суде (январь-февраль 1931) один из похитителей (А.Палкин) объяснял свое участие в краже желанием завладеть воспоминаниями об убийстве Михаила Романова (тогда еще не существовавшими). Со слов Палкина, Мясников якобы вел переписку с живущим в США издателем Абрамом Сауловичем Каганом (Коганом), возглавлявшим в начале 1920-х изд-во «Петрополис», о продаже ему своих мемуаров с детальным описанием «бегства и исчезновения» вел. князя. (Копии этих писем побывали в руках сотрудника газ. «Возрождение» Н.Н.Алексеева, но суду предъявлены не были). Кроме того, на суде прозвучало заявление некоего Р.Левеля, представившегося юрисконсультom вдовы вел. князя — княгини Н.С.Брасовой, о том, что Мясников якобы предлагал ей купить у него упомянутые мемуары. Брасова дезавуировала эту информацию и объявила Р.Левеля самозванцем. См.: Возрождение (Париж). 1931. 23 январь, 20–22, 25 февраль; Последние новости (Париж). 1931. 23 январь, 6, 20 февраль. Никакими иными сведениями о «торговле рукописью» мы не располагаем.

Сухомлин В. Гитлеровцы в Париже // Новый мир. 1965. №11.
С. 147.

Гуль Р. Указ. соч. С.217–221.

Персонажи Пятикнижия занимали видное место среди идейных ориентиров Мясникова. Ср. прим.37 к «Философии...».

Не исключена вероятность того, что часть рукописей Мясникова осталась тогда во Франции.

См., напр.: Беленкин Б.И. Ганька // Огонек. 1990. №21 (май). С. 18–21; Буранов Ю., Хрусталеv В. Похищение претендента: Неизвестный дневник Михаила Романова // Совершенно секретно. 1990. №9. С.24–28; Пусть говорят документы: Дневник несостоявшегося царя / Публ. В.Г.Светлакова // Позиция (Пермь). 1990. №17; Платонов О. Цареубийцы // Литературная Россия. 1990. 21, 28 сент. №38, 39; Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома 1917–1919 гг. М.» 1992; Самосуд: Убийство великого князя Михаила Романова в Перми в июне 1918 г.: Документы и публикации / Сост. Г.И.Быстрых, подг. к публ. В.Г.Светлаков, Т.С.Волынская. Пермь, 1992; Радзинский Э. Господи, спаси и сохрани... М., 1993; Виноградов В.К. «Я часто думаю, за что его казнили...» // Независимая газета. 1994. 29 апреля.; Думова Н.Г. Морганатическая супруга // Домовой (М.). 1995. №1. С.155–158.

Косецкий (Касецкий) С. — помощник пристава в Мотовилихе. Убит в октябре 1906 в здании мотовилихинского Народного дома боевиком А.А.Миковым (Революционеры Прикамья. Пермь, 1966. С.395).

Сивилев Василий Максимович (1885–1935) — рабочий-большевик. В марте—апреле 1922 проходил по следственному делу группы мотовилихинцев, связанных с Мясниковым (ЦА ФСБ РФ. Арх. №Н-1794 Т. 10).

Борчанинов Александр Лукич (1884–1932) — рабочий-большевик. В 1921–1922 занимал антимясниковскую позицию. В 1923 о нем и о М.П. Туркине (см. далее в тексте) Мясников скажет: «спевшаяся и спившаяся подлая теплая компания /.../ пресмыкающиеся лакеи» (ЦА ФСБ РФ. Арх. №Н-1794. Т.48. Л. 101–106).

Описываемый ниже в тексте эпизод относится к декабрю 1917.

Речь идет об одной из сестер Лукояновых — Вере Николаевне или Надежде Николаевне.

Содержание данного реферата, судя по всему, воспроизведено в главке «Кое-что в происхождении человеческого общества» из III части «Философии убийства...» — «Самопроверка»

Имеется в виду Лукоянов М.Н.

Челябинск был захвачен Дутовым на начальном этапе борьбы Оренбургского казачества с Советами в ноябре 1917, но уже 20 ноября город отбили красногвардейцы. В марте—апреле 1918 после ряда поражений дутовцы бежали в Тургайские степи (вновь активизировать военные действия на Южном Урале Дутов смог только после восстания чехословацкого корпуса). 26 мая 1918 Челябинск был захвачен чехословаками.

Вел. кн. Михаил Александрович находился в Перми со второй половины марта 1918.

Одним из участников убийства Д.Бажина (1917) был А.В.Марков. См.: Платонов О. Цареубийцы // Литературная Россия. 1990. 21 сентября. С. 19. О Маркове — см. далее в тексте.

Речь идет, по всей видимости, об А.И.Плешкове, расстрелянном впоследствии после захвата Перми армией Колчака.

Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937) — чл. КП с 1903. Во время революции 1905–1907 — член Уральского областного бюро РСДРП(б). После 1917 — один из руководителей Уральского обкома партии. В 1918 — левый коммунист. После 1921 — на хозяйственной работе. Один из ведущих советских экономистов. За участие в «левой оппозиции» в 1927 исключен из партии и сослан в Уральск. В 1929 после раскаяния был восстановлен в партии. Расстрелян.

Артем (Сергеев) Федор Андреевич (1883–1921) — чл. КП с 1901. В 1906–1907 работал в Перми, где возглавлял Пермский комитет РСДРП(б). После октября 1917 — на руководящих постах.

Митрофанов Алексей Христофорович (1879–1941) — революционер. Чл. КП с 1903. С 1901 жил в Перми. Один из руководителей восстания в Мотовилихе в декабре 1905. После революции и гражданской войны — на партийной и хозяйственной работе.

Лашевич Михаил Михайлович (1884–1928). Чл. КП с 1901. Один из руководителей Октябрьского переворота в Петрограде. Затем — на ответственных постах в Красной армии. В дек. 1918 — марте 1919 командующий 3-й армией Восточного фронта (см. прим. 21). После гражданской войны на военной и политической работе. В 1927 за принадлежность к троцкистской оппозиции исключен из партии. В 1928 — восстановлен.

Войков Петр Лазаревич (1888–1927) — политический деятель, дипломат. Член РСДРП с 1903, меньшевик. С августа 1917 в РСДРП(б). С октября 1917 — в Екатеринбурге, где сперва становится председателем Городской думы, затем комиссаром продовольствия Уральской области. Председатель Заводского совещания заводов Урала. Замешан в истории убийства Николая II и его семьи. В 1919 — зам. председателя Правления Центросоюза. В 1921 — председатель советской делегации в Смешанной советско-польской комиссии по реализации Рижского договора, одновременно состоит членом правления треста «Северолес». С 1924 полпред СССР в Польше. Убит в Варшаве Б.Ковердой.

Сорокин В.А. — председатель Пермского Губисполкома с 21 янв. 1918.

Смилга Ивар Тенисович (1892–1938) — чл. КП с 1907. В гражданскую войну — чл. РВС ряда фронтов. Расстрелян.

Ср.: «Слухи о восстании мотовилихинских рабочих накануне падения Перми не подтверждаются, было лишь сильное брожение на почве продовольственной неурядицы». (Сталин И., Дзержинский Ф. Доклад В.И.Ленину // Сталин И.В. Сочинения. Т.4. М., 1947. С. 191). В других советских источниках «брожение» названо «эсеровским восстанием». События на Мотовилихинском заводе начались 5 декабря 1918. «Открытое выступление эсеров-меньшевистского охвостья в дни, когда белогвардейские войска были на подступах к Перми, потребовало от Пермской партийной организации и военного командования принятия срочных и чрезвычайных мер. Военный совет 3-й армии объявил Мотовилиху на осадном положении и приостановил работу на заводе для очистки его от белогвардейцев и предателей. Были созданы революционный комитет и комиссия для рассмотрения событий» (Очерки истории Пермской областной партийной организации, Пермь, 1971. С.155). Председателем военно-революционного комитета, созданного 6 декабря, стал Мясников (это со слов самого Мясникова; из материалов Гос. архива новейшей истории г.Перми — б.Партийный архив Пермской обл. — следует, что он входил в состав ВРК). Решительные карательные меры (массовые аресты и расстрелы) позволили уже 10 декабря возобновить работы на заводе.

Ср.: «Почти перед самым отступлением наших войск мы с Колпащиковым расстреляли быв[шего] нач[альника] з[аво]да Темникова, его сына офицера (нашли у них пулемет) и еще инженера Иванова (зав. снарядного цеха №3) как служившего в охранке. Все это мы делали по решению ЧК и мотовилихинского ревкома» (Воспоминания А.В.Маркова. Цит. по: Платонов О. Указ. изд. С. 19).

Ср.: «Новый командующий 3-й армией М.М.Лашевич и его штаб не проявили инициативы и распорядительности в руководстве боевыми операциями. Более того, Лашевич окружил себя сомнительными военспецами, пьянствовал с ними. В штабе не знали, что происходит на фронте, есть ли резервы, оружие, боеприпасы, не была организована работа разведки. Под давлением превосходящих сил 3-я армия, ослабленная непрерывными боями, отходила на запад. Когда белогвардейцы подступали к окраинам Перми, контрреволюционеры подняли в городе панику. Штаб 3-й армии не сумел организовать обороны города /.../ 24 декабря Пермь была захвачена белыми. В их руки достались богатые военные трофеи — железнодорожные составы, баржи, продовольствие и вооружение /.../ Уралобком просил ЦК назначить партийную следственную комиссию для того, чтобы учесть допущенные ошибки /.../ Центральный Комитет партии назначил партийно-следственную комиссию в составе Ф.Э.Дзержинского и И.В.Сталина, поручив ей изучить причины падения Перми и принять меры к укреплению боеспособности 3-й армии. 5 января 1919 года комиссия прибыла в Вятку и приступила к работе /.../. По предложению комиссии скомпрометировавший себя Лашевич был снят с должности командующего армией и на эту должность 5 марта 1919 назначен бывший полковник С.А.Меженинов» (История Урала. Т.2. Пермь, 1965. С.99). Ср.: «Это не было, строго говоря, отходом, тем более это нельзя назвать организованным отводом частей на позиции, — это форменное беспорядочное бегство наголову разбитой и совершенно деморализованной армии со штабом, неспособным осознать происходящее и сколько-нибудь учесть заранее неизбежную катастрофу, неспособным своевременно принять меры для сохранения армии путем ее отвода на заранее подготовленные позиции, хотя бы ценой потери территории. Вопли Реввоенсовета и штаба третьей армии о «неожиданности» катастрофы лишь демонстрируют оторванность этих учреждений от армии /.../ их неумение руководить действиями армии. Все эти обстоятельства послужили основой той беспримерной растерянности и бесхозяйственности, которые характеризуют совершенно беспорядочную эвакуацию ряда городов и пунктов в районе третьей армии» (Сталин И., Дзержинский Ф. Отчет комиссии ЦК партии и Совета Обороны тов.Ленину // Сталин И.В. Сочинения. Т.4. Указ. изд. С. 199–203). 3-я армия была разгромлена силами Сибирской армии под командованием

генерала А.Н.Пепеляева.

Мрачковский Сергей Витальевич (1883–1936) — чл. КП с 1905, военный деятель. Участник гражданской войны. В 1920–1925 — командующий Приуральским, а затем Западно-Сибирским военными округами. Сторонник троцкистской оппозиции. В 1927 исключен из партии. После раскаяния — восстановлен. В 1933 — снова исключен. Расстрелян.

Продвижение чехословаков и казаков в направлении Екатеринбурга началось сразу же после захвата ими Челябинска (26 мая 1918). 28 мая бои шли у станции Аргаяш, затем наступавшими был захвачен Кыштым (в 130 верстах южнее Екатеринбурга). В результате усилий Красной армии Кыштым был освобожден и линия фронта до июля проходила близ станции Аргаш (и Кыштым, и Аргаш находятся между Верхним Уфалеем и Челябинском).

Лукоянов Федор Константинович — в июле 1918, во время расправы над семьей Николая II, — председатель Уральской областной ЧК (находилась в Екатеринбурге). Э.Радзинский отводит Ф.Лукоянову роль таинственного «шпиона», проникшего под видом плотника в дом в Тобольске, где проживала царская семья. (См.: Радзинский Э.С. Господи... Спаси и усмири Россию: Николай II: жизнь и смерть. М., 1993. С.278–282). Факт психического заболевания Ф.Лукоянова, судя по всему, был использован при создании художественного фильма «Цареубийца».

Решение о высылке вел. кн. Михаила Александровича из Гатчины в Пермь было принято на заседании Совнаркома 9 марта 1918.

Вместе с М.А. в Пермь приехали: его управляющий и личный секретарь Н.Н.(Брайан) Джонсон (мать Джонсона была экономкой в доме, купленном М.А. в Англии еще до начала Первой мировой войны), камердинер Никифор Челышев и шофер Василий Борунов (по др. источникам, напр., в списках заложников, расстрелянных в Перми осенью 1918, слуги М.А. значатся как — В.Ф.Челышев и П.Я.Борунов). Супруга вел. князя графиня Н.С.Брасова не сопровождала мужа в ссылку: она приезжала в Пермь один раз в мае 1918. В Пермь был выслан также П.Л.Знамеровский, полковник, б.начальник Гатчинского железнодорожного жандармского управления. С ним одно время жила в ссылке его жена В.М.Знамеровская. В своем дневнике М.А. упоминает лиц, с которыми он общался в ссылке (среди них также высланные): С. и О.Тупицыны, повар Митревели, П.Н.Второв, Екатерина Даниловна (?), Добродины (Добротины), Николаевы, инженер Андреев, правовед Нагорский, доктор Шипицын, полковник М.П.Обыденов.

По приезде ссыльных в Пермь Пермский Совет объявил было распоряжение об аресте М.А. и Джонсона. После того, как они отправили телеграммы на имя Ленина и Бонч-Бруевича с просьбой позволить им свободное проживание, Бонч-Бруевич и Урицкий телеграфировали Пермскому Совету соответствующее указание: «имеют право жить на свободе под надзором местной Советской власти» (Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома. М., 1992. С.94–95). Сначала М.А. поселился в гостинице при б. Благородном собрании.

Гостиница по ул. Сибирской (ныне ул. К.Маркса, 5). Здание гостиницы возведено в 1907 по заказу лесопромышленника В.Н.Королева. В рекламе 1910–1911 говорится о «первоклассных» гостиничных номерах «Королевские». В обиходе прижилось название «королевские» (см.: Топоров С.А. Самосуд // Вечерняя Пермь. 1990. 15 января; Цит. по: Самосуд: Убийство великого князя Михаила Романова в июне 1918: Документы и публикации. Пермь, 1922. С.37).

Ср. прим. 20; скорее всего, речь здесь идет о том самом «сыне-офицере». Последующий эпизод представляется сочиненным задним числом.

Мясников в 1918–1920 несколько раз избирался членом ВЦИК, первый раз — на III съезде Советов (январь 1918), делегатом которого он был.

В связи с описываемыми событиями автор не раз поминает А.В. Колчака. Последний весной 1918 находился сперва в Пекине, а затем в Харбине. Летом Колчак в качестве частного лица пребывал в Токио. Никакого влияния на события весны—лета 1918 в Сибири и на Урале оказывать он не мог.

Представляется сомнительным, чтобы автор в 1918 руководствовался подобными соображениями. Высказал же он их впервые в 1921 в своих «Докладной записке в ЦК», статье «Больные вопросы» и ответном письме Ленину (см.: Дискуссионный материал. Указ. изд.). В 1921 Мясников имел в виду именно 1921, а не 1918–1920. Ср.: «Мы, пролетарии, не церемонились друг с другом, когда это надо было, и тех, которые мешали нам победить буржуазию, мы не совсем товарищески «уговаривали» — садили в тюрьмы, а иной раз и расстреливали. Но это было время такое: если бы этого не сделали, то буржуазия побила бы нас, весь рабочий класс /.../ Теперь другое время» (Там же).

Жужгов Николай Васильевич (1877-?). Дополнительные сведения о нем см.: Коробейников В.Ю. Приведено в исполнение // Вечерняя Пермь. 1990. 4 апреля; Самосуд. Указ. изд. С.46–49; Платонов О. Указ. изд. С. 19.

Из других источников следует, что Иваяченко в это время занимал пост начальника милиции г.Перми (см., напр.: Революционеры Прикамья. Указ. изд.).

Иван Федорович Колпащиков вместе с А.В.Марковым в 1918 участвовал в расстрелах арестованных местной ЧК бывших полицейских, офицеров царской армии и др. (см.: Платонов О. Указ. изд. С.19)

Мясников был делегирован из райкома на работу в Губ. ЧК решением общего собрания коммунистов Мотовилихи 27 мая 1918 (из Справки, составленной по материалам Гос. архива новейшей истории г.Перми —Ф.620. Оп.1.Д.1–3).

Сведения о какой-то особой охране вел. князя в других источниках отсутствуют.

О вызове в ЧК и о предписании ежедневно ходить туда отмечаться сделана запись в дневнике М.А. от 21 мая 1918. Указание на Мясникова в ней отсутствует. Дневниковая запись от 7 июня 1918 начинается так: «В Чрезвычайном Комитете я слегка сцепился с одним «товарищем», который был очень груб со мной» (Цит. по: Самосуд. Указ. изд. С. 14). Не исключено, что этим «товарищем» и был Мясников.

Скорее всего. Мясников в своих подсчетах исходит из запомнившегося ему числа тех, кто был арестован ЧК впоследствии в связи с официальной версией бегства М.А

Неустановленное лицо, вполне вероятно, — вымышленный, собирательный образ мотовилихинского рабочего-коммуниста. Предыдущая глава, в которой описано купание и излагается разговор с Авдеевым, дана в сокращении.

Ср.: «[Болотов] — /.../ Скажите, ведь комитет распоряжается чужой жизнью. Ведь он посылает на смерть? Ведь он подписывает смертные приговоры? Где его право? /.../ Почему Давид, Ваня, Сережа, какой-нибудь слесарь с Путиловского завода идет с бомбой в руках умирать, а я, скрестив руки, благословляю его? Ведь это поп обязан благословлять, а мы не попы... [Розенштерн] — /.../ Я знаю. Я сам работал в терроре. Трудно, никто не знает, как трудно отдать свою жизнь. Еще труднее убить. Но труднее всего, поверьте мне, неизмеримо труднее всего /.../ распоряжаться судьбой других... Для этого нужны огромные силы, большие, гораздо большие, чем для террора. Нужно иметь мужество принять ответственность, ответственность крови, крови товарищей» (Савинков Б. (В.Ропшин) То, чего не было // Савинков Б.В. (Роп-шин В). То, чего не было: Роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. М., 1992. С.352, 354). Или: «/.../ Я здесь стоял и слышал взрыв. Великий князь убит. В ту же минуту Дора наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала /.../ и повторяла:

— Это мы его убили... Я его убила... Я...

— Кого? — переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

— Великого князя»

(Савинков Б.В. Воспоминания террориста. М., 1991. С.78).

Ср.: «Первая мысль об этом зародилась у тов. Мясникова Г.И. Об этом он сказал в Управлении милиции тов. Иванченко, который был комиссаром по охране гор. Перми» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома: 1917–1919 гг. М., 1992. С. 112. Авторами цитируется вариант воспоминаний, хранящийся в ГАРФ); «Позвонили ко мне в кино «Луч» в Мотовилихе, где я был в то время управляющим, чтобы я пришел в милицию, что, конечно, я тотчас же исполнил. Это было наше первое совещание из 3-х лиц по этому делу. Мясников посвятил нас в чем дело, но троим нам, конечно, это сделать было невозможно, и мы тут же решили пригласить по рекомендации т.Иванченко т. Жужгова Николая, а по моей — т. Колпащикова Ивана, и по моему предложению решили дальнейшее совещание перенести в кино «Луч», т.к. в милиции могли нас подслушать. Но в самой конторе кино «Луч» также место было ненадежное. Тогда мы все, уже пять человек, перебрались в будку кино, где и продолжили свое заседание, правильнее, это было не заседание, а распределение ролей между нами» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Самосуд. Указ. изд. С.21. В сборнике публикуется вариант воспоминаний, хранящийся в ГАПО).

В июне 1918 в Алапаевске находились: вел. князя Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Константин Константинович, Иоанн Константинович, князь Владимир Палей, вел. княгиня Елизавета Федоровна и супруга Иоанна Константиновича — сербская принцесса Елена Петровна (последняя покинула Алапаевск незадолго до кровавой расправы 18 июля 1918).

Двойнишников М.Ф. — см. о нем в Приложениях: «Из Автобиографии Мясникова».

В кн. «Революционеры Прикамья» в Указателе имен есть некто Бабинцев (без инициалов) с пометой: «в 1902 г. участник революционного движения на Мотовилихинском заводе» (С.784).

Ср.: «В Перми лошадей поставили во двор Губчека, посвятили в это дело председателя Губчека т.Малкова и помощника Иванченко т. Дрокина В. Здесь окончательно был выработан план похищения. Решено было так: явиться около 11 часов вечера в гостиницу, где жил Михаил Романов, предъявить ему документ, подписанный т.Малковым, о срочном его выезде из г.Перми по указанию лиц, предъявивших мандат. Если он будет сопротивляться и откажется следовать, то взять силой. Документ этот я сел за пишущую машинку и напечатал, поставили не особенно ясно печать, а тов. Малков неразборчиво подписал. Во время печатания мною на машинке мандата пришел в Губчека т.Сорокин — инженер, в то время Предгубисполкома. Он догадался, что мы чего-то хотим сделать, но чего — ему никто не сказал, но он чувствовал, что что-то затевается крупное, рассмеялся и ушел. Далее тов. Дрокину было поручено занять место т.Иванченко по охране Перми и ждать указаний от нас, заняв место у телефона, что им и было сделано. Тов. Малков остался в ЧК» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Самосуд. Указ. изд. С.21–22).

Ср.: «Тов. Мясников ушел пешком к «Королевским номерам», а мы четверо: т.Иванченко, с т. Жужговым на первой лошади, я с Колпащиковым на второй, около 11 часов подъехали к вышеуказанным номерам в крытых фаэтонах к парадному» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Самосуд. Указ. изд. С.22).

Ср.: «Жужгов и Колпашиков отправились в номера, мы же с Иванченко и Мясниковым остались на улице в резерве, но сейчас же потребовали подкрепления, т.к. Михаил Романов отказывался следовать, требовал «Малькова» (он плохо говорил по-русски), чтобы его вызвали по телефону. Тогда я, вооруженный наганом и ручной бомбой («коммунистом»), вошел в помещение, стража у дверей растерялась, пропустили беспрепятственно, как первых двоих, так и меня. Я занял место в коридоре, не допуская никого к телефону, вошел в комнату, где жил Романов, он продолжал упорствовать, ссылаясь на болезнь, требовал доктора, Малкова. Тогда я потребовал взять его, в чем он есть. На него накинули что попало и взяли, тогда он поспешно стал собираться, спросил — нужно ли брать с собой какие-либо вещи. С собой вещи брать я отказал, сказав, что ваши вещи возьмут другие. Тогда он просил взять с собой хотя [бы] его личного секретаря Джонсона, — это ему было предоставлено, т.к. это было уже раньше согласовано между нами. После чего он наскоро накинул на себя плащ. Жужгов тотчас же взял его за шиворот и потребовал, чтобы он выходил на улицу, что он исполнил. Джонсон добровольно вышел из комнаты на улицу, где нас ждали лошади. Михаила Романова посадили на первую лошадь. Жужгов сел за кучера, и Иванченко рядом с Михаилом Романовым; я посадил с собой Джонсона, а Колпашикова за кучера, и таким образом в закрытых фэзтонах (к тому же моросил дождик) мы тронулись по направлению к Мотовилихе по тракту». (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Похищение претендента: Неизвестный дневник Михаила Романова // Совершенно секретно. 1990. №9. С.27).

Ср.: «Как потом выяснилось, что тов. Мясников, который в момент нашего подъезда к номерам был около здания номеров, но когда в номерах произошла заминка, и Михаил Романов отказывался ехать, и что дело могло кончиться только расстрелом его и других на месте /.../ он струсил и убежал» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома. Указ. изд. С. 118).

1925 - 1926 ответственный секретарь Сарапульского окружного комитета РКП(б) - ВКП(б)

1928 - 1929 ответственный секретарь Орловского окружного комитета ВКП(б)

1.4.1937 арестован

1.12.1937 осуждён к 5-ти годам лишения свободы

Ср.: «Когда по расчетам мы должны быть уже за чертой города, тов. Дрокин звонил официальным тоном в милицию, что в «Королевские номера» явились неизвестные личности и увезли по неизвестному направлению Михаила Романова и просил срочно направить по Сибирскому тракту и Казанскому конную милицию. Это же было сообщено в Губчека. Это же сообщил по телефону заведующий номерами в Губчека и милицию» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Самосуд. Указ. изд С.22–23).

Ср.: «Сначала похищенные вели себя спокойно и когда приехали в Мотовилиху, стали спрашивать, куда их везут. Мы объяснили, что на поезд, что стоит на разъезде, там в особом вагоне их отправим дальше, причем я, например, заявил, что буду отвечать только на прямые вопросы, от остальных отказался. Таким образом, проехали керосиновый склад (бывший Нобеля), что в 6 км от Мотовилихи. По дороге никто не попадал. Отъехавши еще с версту от керосинового склада, круто повернули по дороге в лес направо» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Самосуд. Указ. изд. С.23).

Ср.: «Отъехавши сажен 100–200, Жужгов кричит: «Приехали — вылезай!» Я быстро выскочил и потребовал, чтобы мой седок сделал то же самое. И только он стал выходить из фазтона, — я выстрелил ему в висок, он, качаясь, пал, Колпашиков тоже выстрелил, но у него застрял патрон браунинга. Жужгов в это время проделал то же самое, но ранил только Михаила Романова. Романов с растопыренными руками побежал по направлению ко мне, прося проститься с секретарем. В это время у Жужгова застрял барабан нагана (не повернулся), т.к. пули у него были самодельные. Мне пришлось на довольно близком расстоянии (около сажени) сделать второй выстрел в голову Михаила Романова, отчего он свалился тотчас же. Жужгов ругается, что его наган дал осечку. Колпашиков тоже ругается, что у него застрял патрон в браунинге, а первая лошадь, на которой ехал т.Иванченко, испугавшись первых выстрелов, понеслась дальше в лес, но коляска задела за что-то и перевернулась, т.Иванченко побежал ее догонять, и когда он вернулся, уже все было кончено. Начинало светать. /.../ Когда ехали обратно, то я ехал с тов. Иванченко вместе, разговаривали по этому случаю, были очень хладнокровны, только я замерз, т.к. был в одной гимнастерке» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Самосуд. Указ. изд. С.23).

Ср.: «Зарывать [трупы] нам нельзя было, т.к. светало быстро и [было] недалеко от дороги. Мы только стащили их вместе, в сторону от дороги, завалили прутьями и уехали в Мотовилиху. Зарывать ездил на другую ночь тов. Жужгов с одним надежным милиционером, кажется, Новоселовым» (Марков А.В. Воспоминания. Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома. Указ. изд. С. 114). Упомянутый И.Г.Новоселов в 1928 написал письмо в газету «Правда», записку для Истпарта и заявление в Истпарт, в которых, оспаривая роль некоторых из участников расстрела, убийство М.Романова и Джонсона ставит в заслугу себе, Жужгову и А.И.Плешкову (см. прим. 11).

Ср.: «После совершения расстрела Михаила Романова по возвращении в управление Мотовилихинской милиции, когда производился раздел вещей расстрелянных между участниками, то 1-му Иванченко В.А. были отданы с расстрелянного Михаила Романова золотые шести угольчатые именные часы червонного золота, с надписью на одной из крышек Ми-хил Романов, которые в настоящее время у т.Иванченко /.../ С расстрелянного Романова также было снято золотое именование кольцо и пальто и штиблеты — бывшему расстрелянному начмилиции А.Ив.Плешкову. А с расстрелянного камердинера [имеется в виду Джонсон] вещи разделены между Марковым и Колпащиковым И.Ф.» (Новоселов И.Г. Заявление в Истпарт. Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома. Указ. изд. С. 116–117). «Летом 1964-го на одной из встреч с А.В Марковым в Москве я обратила внимание на его наручные серебряные часы необычайной формы и, на мой взгляд, очень древние. Они отдаленно напоминали дольку срезанного крутосваренного яйца. На вопрос, откуда такие часы, Андрей Васильевич ответил, что они принадлежали личному секретарю Михаила Романова Брайану Джонсону, и он взял их себе на память, сняв с руки Джонсона после расстрела.

— С тех пор не снимаю с руки, — сказал Андрей Васильевич и добавил: — Идут хорошо, ни разу не ремонтировал, только отдавал в чистку несколько раз» (Аликина Н.А. Взвесить на весах истории // Вечерняя Пермь. 1990. 3 февр. Цит. по: Буранов Ю., Хрусталеv В. Гибель императорского дома. Указ. изд. С. 108).

Речь идет о V Всероссийском Съезде Советов (проходил в Москве 4–10 июля 1918). М.П.Туркин значится в списках делегатов съезда.

Партийная кличка Мясникова.

Операция по умерщвлению алапаевских узников (18 июля 1918) сопровождалась довольно грубой инсценировкой их побега. Указанная беседа могла происходить только после 29 августа 1918, т.е. после возвращения Мясникова с фронта, куда он был направлен по увольнению из Губчека в начале июля.

Партийная кличка Новгородцевой Клавдии Тимофеевны (1876–1960), жены Я.М.Свердлова.

Мясников путает хронологию: открытие памятника К.Марксу и Ф.Энгельсу состоялось 8 ноября 1918 в дни работы VI съезда Советов, а встреча Туркина со Свердловым была в июле.

Скорее всего разговор с Туркиным состоялся после 29 августа.

Выделенные слова отчеркнуты на полях и подчеркнуты в следственном деле.

См.: Ленин В.И. ПСС. Т.44. С.78–83

О брошюре см. в пред. к наст. публ. и прим. 33. В следственном деле Мясникова имеется ряд документов, проливающих свет на историю ее опубликования. Ниже приводятся два из них:

Телеграмма

Копия

МСК ЦЕКА РКП

Из Перми 7339/Б 53 23 12 20

На Ваш НР 46 642 официального согласия Губкома на издание брошюры не было точка Постфактум когда брошюра была уже напечатана выпуск был санкционирован для узкого круга читателей точка Подпись Губком признал издание брошюры плодом недоразумения Решение было принято присутствии тов Муранова точка НР 13 462 12/12 21 года

За секретаря Губкома М Туркин

Верно: м Бурикова

2

ЦК РКП тов. Михайлову

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По делу об издании и распространении брошюры т. Мясникова

По распоряжению тов. Уншлихта мною произведено расследование об издании и распространении брошюры т. Мясникова по предложению ЦК РКП.

Мною запрошены: заведующий 35-й типографией гр. Чуканов и арендатор этой типографии гр. Желудков. Из допросов выяснилось, что заказ на брошюру дан тов. Антоновым ночным редактором «Гудка» гр.

Желудкову, как спешная работа к партконференции. Гр.Желудков отдал печатать в 35 типографию, заведующему гр. Чуканову. Разрешение на печатание дано Цензором Троицким (оригинал находится в Воен. Цензуре с датой т.Троицкого). Тов. Троицкий выставил лишь условие, что брошюра, весь тираж, будет выдана коммунисту. Желудкову же тов. Антонов заявил, что изданную брошюру получит сам автор т. Мясников, который и заплотит совместно с т.Антоновым за печатание ее.

Разрешение Губиздата должен был достать т.Мясников (уже после издания брошюры). Брошюра отпечатана в количестве 500 экземпляров.

Получена лично тов. Мясниковым, который заплатил за нее 5 000 000 руб. Из типографии перевезена во 2-й дом Совета, в литера 15, которую занимал тов. Мясников вместе с тов. Смирновым.

Из личного опроса тов. Смирнова выяснилось, что т.Мясников раздавал брошюру сам многим тов. Московской организации РКП и приехавшим на партконференцию и съезд Советов. Часть издания увез с собой на Урал. Кому персонально брошюра давалась Мясниковым, т.Смирнов не знает, т.к. дома бывал редко.

Несколько экземпляров имеется и сейчас в вещах, оставленных т. Мясниковым в литере 15. Тов. Мясников не допрошен, т.к. по командировке ЦК РКП находится на Урале. Полагаю, что поскольку содержание брошюры известно ЦК РКП, предлагаю ЦК РКП привлечь т.т. Мясникова, Антонова и Воен. Цензора т.Троицкого к партсуду. 27/1-22

ПомНачСОВЧК

Мясников был арестован 25 марта 1922. Ср.:

Начальнику общей части 29.03.1922

Рапорт

Доношу, что 28 марта с/г в 7 часов вечера в камере №4 содержащийся под стражей политически-заключенный Мясников Гавриил произвел буйство, выразившееся в побитии двух стекол в раме у окна в камере. Причем часовым, стоящим на посту у камеры, было произведено три выстрела, на каковые явились караульный начальник с кр[асноармей]цами караула и дежурный помкомendant тов. Шахмаев.

После чего были вызваны начсач тов. Болотов и зампредгубчека тов. Семченко, каковые и пришли в камеру заключенного.

Комендант [подпись]

Версия Мясникова изложена им в «Автобиографии» (см. Приложение)

Кашен Марсель (1869–1958) — один из основателей Французской компартии (1920), в 1924–1943 — член президиума ИККИ, убежденный сталинист; Суварин (наст. фам. Лифшиц) Борис (1895–1984) — историк, политический деятель, французский коммунист, после 1917 — активист Коминтерна, в 1926 на VII пленуме ИККИ исключен из Коминтерна. Был близок к Троцкому, с конца 1920-х — активный антисталинист; Селье Луи — функционер ФКП, представлял ее на IV конгрессе Коминтерна (1922), в 1930 содействовал Мясникову в получении французской визы;

Трен (Трэн) А. — в 1920-е один из руководителей ФКП, где был среди лидеров левого течения. В конце 1920-х исключен из ФКП и Коминтерна. В начале 1930-х сотрудничал с Мясниковым; Маслов (наст. фам. Чемеринский или Чемиринский) Аркадий (1891–1941) — политический деятель, в первой половине 1920-х — один из лидеров Германской компартии. Будучи арестован в Германии, был заочно избран канд. в чл. ИККИ. В 1926 исключен из компартии и Коминтерна. Вместе с Рут Фишер организовал «Ленинский союз» в Германии. В 1923–1934 сотрудничал с Мясниковым. Умер при невыясненных обстоятельствах на Кубе.

Жена Г.И. — Мясникова (урожд. Варнина) Дарья Григорьевна (1895— после 1946). Его дети — Юрий (1919 г.р.), Вадим (1922 г.р.) и Борис (1923 г.р.) — погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Фотография, где они все трое изображены в матросках, была послана отцу в Париж в 1930 с надписью: «Матросы с разбитого корабля (как они себя называют) приехали к тебе».

Из оды А.С.Пушкина «Вольность». Ср.: «Б. И. [Николаевский] передал мне рассказ Мясникова, что когда он был еще молодым рабочим и впервые был арестован за революционную деятельность и заключен в тюрьму, то, беря из тюремной библиотеки книги, читал Пушкина, как говорят, «запоем» (оказывается, Пушкин — «любимый поэт» Мясникова!) И вот Мясников наткнулся на стихотворение «Кинжал». «И он, — говорит Б.И., — рассказывал, что 'Кинжал' произвел на него такое потрясающее впечатление, что в тюрьме он внутренне поклялся стать именно вот таким революционным 'кинжалом'. Вот где психологические корни его убийства великого князя. И говорил он об этом очень искренне...»» (Гуль Р. Указ. соч. С.217–218).

См.: Троцкий Л.Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Т.2. М., 1990. С.204–205.

Первая страница документа в деле отсутствует.

В другом источнике — А.А. Миков

Один из упоминаемых здесь: Тер-Габриэлян Саак Мирзоевич (1886–1937) — чл. КП с 1902, в 1928–1935 — пред. СНК Армянской ССР. Расстрелян

Спюпани Александр Митрофанович (1871–1932) — чл. КП с 1893, в 1924–1929 — прокурор РСФСР по трудовым делам; Лядов (наст. фам. Мандельштам) Мартын Николаевич (1872–1947) — чл. КП с 1893, в 1909–1920 — меньшевик, в 1927–1930 — чл. ЦРК ВКП(б). Автор первых работ по истории КП.

Израилович Абрам Ильич (1883–1938) — земский врач. В революционном движении с 1903. В 1920-е — зам. зав. Орготдела ЦК ВКП(б), затем — нач. Главгаза, чл. коллегии Наркомтяжпрома. Расстрелян.

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) — чл. КП с 1903, секр. ЦК в 1919–1921, с 1930 — на крупных постах в НКВД. Расстрелян.

Комаров Николай Павлович (наст. фам. и имя Собинов Федор Евгеньевич, 1886–1937) — чл. КП с 1909, в 1921–1922 — чл. ЦК РКП(б), в 1926–1929 — пред. Ленгор. и губисполкомов. Расстрелян.

Трилиссер Меер Абрамович (1883–1940) — чл. КП с 1901, в 1918–1930 — на видных постах в ВЧК—ОГПУ. Погиб в заключении.

Равич Сарра (Ольга) Наумовна (1879–1957) — чл. КП с 1903, в 1917 — чл. Петроградского к-та РСДРП(б). После окт. — на партийных и советских постах. В 1918 примыкала к «левым коммунистам». В середине 1920-х — активная участница оппозиции. Исключена из ВКП(б) в 1927, восстановлена в 1928. Перед арестом в дек. 1934 — управляющая Воронежским трестом кондитерских изделий. Выслана в Якутию на 5 лет. Затем арестовывалась в 1937, 1946 и 1951. Освобождена в 1954.

Ударение на Равич сделано намеренно: это вторая жена Зиновьева. Прим. автора.

В опущенном фрагменте: попытка Мясникова вернуться на партийно-хозяйственную работу на Урал, удаление его оттуда решением Бюро ЦК по Уралу.

Сольц Арон Александрович (1872–1945) — чл. КП с 1898, в 1920–1934 чл. ЦКК РКП(б)— ВКП(б).

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937) — чл. КП с 1901, в 1921–1922 — чл. ЦК РКП(б), в 1923–1932 — чл. редколлегии Госиздата, расстрелян; Медведев Сергей Павлович (1885–1937) — чл. КП с 1900, с 1920 — профсоюзный и хозяйственный функционер, расстрелян; Коллонтай (урожд. Домонтович) Александра Михайловна (1872–1952) — чл. КП с 1915, с 1920 — зав. женотделом ЦК, с 1923 — на дипломатических постах.

В опущенном фрагменте: организационная борьба Мясникова с верхушкой «рабочей оппозиции».

Масштаб выступлений, как и влияние Рабочей Группы, Мясниковым здесь преувеличены.

Ср. с записанными 10 февраля 1945 воспоминаниями одного из секретных сотрудников ОГПУ, освещавших деятельность Мясникова и его окружения в 1927–1928: «В день, забыл, не то октябрьских торжеств, не то советизации Армении, Мясников, переодевшись в женское платье, на извозчике выехал на вокзал и поездом доехал до какой-то станции, находящейся недалеко от реки. Тут Мясников встретился с Карапетяном Сосун, с которым он вместе должен был переплыть реку и оказаться за границей, т.е. в Турции. Их проводник, подобранный Бабаяном Аршо и, кажется, родственник самого Аршо, благополучно провел Мясникова и Карапетяна [через] все пограничные посты до реки, и когда Мясников и Карапетян стали раздеваться, чтобы войти в воду и переплыть, тут Карапетян неожиданно перерешает и отказывается /.../ с мотивировкой, что «я буду полезнее в Еревани, чем за кордоном». Мясников, не теряя времени, на папиросной коробке пишет жене, что он стоит по пояс в реке, готов переплыть благополучно /.../. Сосун помогает Мясникову связать его носильные вещи, где был тщательно скрыт один из трудов Мясникова «Очередной обман», привязать этот узелок на затылке Мясникова. [Тот] пускается вплавь, переплывает на другую сторону, машет рукой Сосуну и только тогда Сосун возвращается обратно».

См.: Агабеков Г.С. ЧК за работой. М., 1992.

В следственном деле сохранился следующий документ:

«Проходное свидетельство №02

Генеральное консульство СССР в Тегеране настоящим удостоверяет, что предъявитель сего гр. Мясников Гавриил Ильич является гражданином СССР, направляющимся в Союз ССР. Мясников Г. И. нелегально перешел границу из СССР в Персию в ночь с 7 на 8 ноября 1928 года. Действительно до 15 мая 1929 г. Генеральный консул в Тегеране А.Вайнман Секретарь Кисельгоф 15 апреля 1929 года /.../»

19 января 1945

Лев Львович Седов - старший сын Льва Троцкого и Натальи Седовой.